
Ведьма
без тени
Егор Ралович

Егор Ралович

Ведьма без тени

«Автор»
2026

Ралович Е.

Ведьма без тени / Е. Ралович — «Автор», 2026

В королевстве Орвень тень хранит память рода: кузнец без тени забывает ремесло, вдова – мужа. Тени закладывают и продают, а долги взыскивает Служба Полудня в белых плащах. Травница Мирена из деревни Сухой Брод продала свою тень в девять лет, чтобы заплатить за лечение брата. Брат всё равно умер, а Мирену с тех пор не видит никакое колдовство.Когда по деревням начинает ходить пустень – тварь, пожирающая чужую память, – Мирена оказывается единственной, кого чудовище не трогает. Капитан Ярош Вельский, честный до глупости и носящий чужую тень, обязан её арестовать. Но в столице умер король, Тень Короны пропала, и до сороковин, когда вассалы придут присягать, осталось сорок дней.Тёмная сказка о долгах, памяти и любви – и о том, что делает человека собой: прошлое его рода или собственный выбор.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сухой Брод 5
Глава 2. Пустень 11
Глава 3. Должница без залога 15
Глава 4. Трясина 20
Глава 5. Траур 25
Глава 6. Баржа «Карась» 30
Глава 7. Сделка 34
Глава 8. Ольшанка 38
Глава 9. Чужое детство 43
Глава 10. Передача 48
Конец ознакомительного фрагмента. 50

Егор Ралович
Ведьма без тени

Глава 1. Сухой Брод

– Три медяшки, – сказала Мирена и положила на стол пучок сушёного тысячелистника. – И не смотри на меня так, Параска. Я не виновата, что твой Ивашка лазит по чужим заборам.

– Две, – сказала вдова Параска и для верности прижала ладонью к столу свой тощий кошель. – Ты в прошлый раз за такой же веник две брала.

– В прошлый раз у него была царапина. А сейчас у него дыра в колене, через которую видно, что он ел на завтрак. Три.

Ивашка, сидевший на лавке с ногой на табурете, хихикнул и тут же охнул: Мирена как раз прижала к ране тряпицу, смоченную в отваре. Мальчишке было восемь, и он считал, что дыра в колене – лучшее, что случилось с ним за лето. Теперь у него была история.

– Ты бы хоть пожалела сироту, – вздохнула Параска.

– Я его жалею. Поэтому промываю, а не прикладываю подорожник, как сделала бы ты, и через неделю он не будет орать, когда нога распухнет как тыква. Жалость стоит три медяшки. Без жалости было бы две.

Параска поджала губы, но кошель развязала. Медяшки легли на стол одна за другой, тусклые, стёртые, с тем самым королём Всеславом, у которого за двадцать лет хождения по рукам совсем исчез нос. Мирена смахнула их в ладонь, пересчитала ещё раз – привычка, от которой она не собиралась избавляться, – и опустила в глиняную кружку на полке. Кружка была с отбитой ручкой и стояла рядом с горшком мёда, а мёд стоял рядом с мешочком соли. В избе бабки Мокрины всё стояло рядом со всем, потому что изба была крошечная, а трав у Мирены было столько, что они свисали с потолочных балок пучками, гроздьями, косами, и гости, входя, всегда пригибались, хотя ростом были невелики.

– Повязку не снимать два дня, – сказала Мирена Ивашке. – Если снимешь, я узнаю.

– Как?

– Я ведьма.

– Ты не ведьма, – уверенно сказал Ивашка. – Ведьмы старые. И у них бородавки.

– У меня бородавка на пятке. Хочешь посмотреть?

Ивашка подумал и решил, что не хочет.

Когда они ушли, Мирена отворила ставень и выглянула на улицу. Сухой Брод лежал в низине у реки Вильи, там, где когда-то в засушливые годы можно было перейти воду, не замочив колен. Теперь река вернулась, брод ушёл под воду, а название осталось, как остаются у людей прозвища, которые давно им не подходят. Два десятка изб, мельница Фрола на протоке, кузница Гордея у дороги, колодец с журавлём, на котором вечно сидела одна и та же ворона. Дальше начинались поля, за полями – тёмная полоса северного леса. Лето шло к концу. Рожь стояла сжатая, пахло соломой и дымом, и в воздухе висела та особая прозрачность, какая бывает только в последние жаркие дни перед первыми туманами.

Солнце поднималось к полудню.

Мирена отошла от окна прежде, чем заметила, что делает это. Тело помнило само. В полдень она старалась не выходить на открытое место – не потому, что боялась, а потому, что так было проще. В полдень у людей самые короткие тени, тугие чёрные лужицы у самых пяток, и в это время никто не смотрит под ноги. Но если кто-нибудь всё-таки посмотрит и не увидит у неё под ногами ничего вовсе, начнутся вопросы. А на вопросы Мирена не любила тратить время. Время тоже стоило денег.

Она сняла с крюка корзину, проверила, на месте ли нож, моток льняной нити и два пустых мешочка, и собиралась уже выйти задами к реке, где в старице рос болотный аир, когда со стороны дороги донёсся звон.

Не колокол. Колокола в Сухом Броде не было. Звенело железо о железо, мерно и холодно, будто кто-то бил ложкой по пустому котлу, отсчитывая шаги.

Мирена знала этот звук. Его в Орвени знали все.

Так приходила Служба Полудня.

Они вошли в деревню ровно тогда, когда тень от колодезного журавля стала короче самого журавля вдвое. Шестеро всадников в белых плащах, с белыми же лентами на шлемах, и пешая повозка за ними – глухой короб на колёсах, обитый жестью, с маленькой зарешёченной дверцей. Первый всадник держал на шесте медную пластину и бил по ней коротким молотком. Звон шёл впереди отряда, и от этого звона закрывались ставни и умолкали собаки.

Мирена осталась на пороге. Уходить теперь было глупее, чем стоять: бегущего замечают, стоящего – нет. Она прислонилась к косяку, сложила руки на груди и стала смотреть, как смотрела бы любая деревенская девка, которой интересно и страшно одновременно.

Белые плащи. Говорили, что белый цвет выбрали затем, чтобы на нём лучше было видно чужую тень. Говорили, что у полуденников нет своих лиц, только шлемы. Говорили много чего. Мирена слышала эти разговоры с детства и пропускала мимо ушей, потому что ни один из рассказчиков не стоял к полуденникам ближе, чем она сейчас.

Отряд остановился у кузницы.

Гордей вышел навстречу сам. Он был огромный, кузнец Гордей, с плечами как дверной проём и руками, которые могли согнуть подкову, не нагревая. Но сейчас он стоял, опустив эти руки, и казался меньше своего подмастерья. Из-за его спины выглядывала жена, Устя, и держала у губ край платка.

– Гордей, сын Пахома, – сказал один из всадников, спешиваясь. Голос был ровный, молодой и какой-то слишком чистый для этого пыльного полудня. – Вы заложили свою тень в доме Теневого ростовщика Бережаты из Велиграда под сорок полуденников на два года. Срок истёк в Жнивень день. Долг не выплачен. Именем закона и по слову Службы Полудня я забираю заклад.

Он снял шлем, и Мирена увидела лицо. Темноволосый, коротко стриженный, с прямым носом и упрямым подбородком, на котором уже пробилась щетина – видно, отряд был в дороге не первый день. Лет двадцать восемь, не больше. Глаза серые, спокойные, усталые. Красивый, отметила Мирена с той же холодной точностью, с какой отмечала, свежий ли у торговки мёд. Красивый и безнадёжно серьёзный. Такие не берут взяток и не умеют шутить.

– Капитан, – Гордей облизнул губы. – Капитан, послушайте. Я верну. Урожай вот... Я Фролу жернов кую, он заплатит к Зимнику. Я верну все сорок и ещё сверху.

– Срок истёк в Жнивень день, – повторил капитан. Не грубо, а так, будто читал по книге. – Вам было дано два года и ещё сорок дней отсрочки. Закон не знает Зимника.

– У меня дети!

– Закон знает и это. Ваши дети останутся при вас. Заберут только тень.

«Только», – подумала Мирена. Она видела, как Устя зажмурилась.

Капитан кивнул своим. Двое полуденников сняли с повозки длинный ящик и раскрыли его. Внутри на тёмном бархате лежали инструменты, похожие одновременно на лекарские и на портновские: тонкие серебряные ножницы с изогнутыми лезвиями, костяные крючья, свёрнутый моток чего-то блестящего, похожего на паутину, и стеклянный сосуд, высокий, узкий, с притёртой пробкой.

Солнце висело точно над деревней. Тень Гордея лежала у его ног плотная, короткая, чёрная, как дёготь. Капитан встал рядом, выбрал ножницы и, наклонившись, провёл ими по земле вдоль края этой тени, медленно, как ведут резцом по дереву. Мирена не услышала звука,

но увидела, как вздрогнули плечи кузнеца. Потом полуденник подцепил край тени костяным крючком – и тень поднялась.

Она поднялась, как поднимается со дна вода, если потянуть за угол мокрую тряпку. Плоская, чёрная, в очертаниях Гордеевых плеч. Она дрожала. Мирена видела – клянусь всеми травами, думала она потом, видела, – как по этой черноте, словно по воде, пробегают смутные отражения: чьи-то руки над наковальней, искры, лицо старика с бородой, заплетённой в косицу, младенец в люльке под потолком кузницы. Отражения шли быстро, как листья по течению, и пропадали.

Капитан скатал тень в рулон – осторожно, как скатывают дорогую ткань, – и опустил в сосуд. Пробка вошла в горло с тихим чмоком.

Гордей стоял на солнце. Под ногами у него ничего не было.

Он смотрел на свои руки. Поворачивал ладони, сжимал и разжимал пальцы. Потом поднял глаза на кузницу, на горн, на молот, который сам выковал двадцать лет назад и с которым разговаривал, когда думал, что никто не слышит, – и Мирена увидела в его лице то, чего не забудет. Он не узнавал. Он смотрел на кузницу, как приезжий смотрит на чужое ремесло: с вежливым непониманием.

– Устя, – сказал он растерянно. – Устя, а как... как его греют, горн-то?

Устя зарыдала в голос.

Капитан отвернулся и надел шлем. Мирена заметила, что он сделал это чуть быстрее, чем стоило бы человеку, которому всё равно.

– Тень будет храниться в доме Бережаты год, – произнёс он, не повышая голоса. – Если долг выплатят в этот срок с наросшими процентами, заклад вернут. Если нет – тень будет продана. Распишитесь, хозяйка. Или поставьте знак.

Он протянул Усте лист. Она поставила крест, не глядя.

Деревня молчала. Даже ворона на журавле молчала. И в этом молчании отряд начал разворачиваться – и тогда Мирена совершила ошибку.

Ошибка была маленькая. Она отлепилась от косяка и сделала два шага вперёд, на солнце, потому что увидела: Гордей покачнулся, у него побелели губы, а ни одна из баб, столпившихся у колодца, не догадалась подхватить его под локоть. Мирена сделала два шага, ещё два, подхватила кузнеца, усадила на колоду у двери кузницы и сунула ему под нос флакон с нюхательной солью. Сделала всё это быстро, не думая, руки сами.

И только потом поняла, что стоит в двух саженях от всадников Службы Полудня. На открытом месте. В полдень.

Она замерла.

Шестеро белых плащей. Шестеро людей, которых учат с детства смотреть на чужие тени, как ростовщик смотрит на монету: на просвет, на вес, на звон. Сейчас кто-нибудь из них опустит глаза на её ноги.

Никто не опустил.

Они смотрели сквозь неё. Не нарочно – просто взгляд их скользил по площади, по бабам у колодца, по Гордею, по Усте, и там, где стояла Мирена, этот взгляд не задерживался, как вода не задерживается на гладком камне. Один из полуденников – совсем молодой, конопатый, с лицом, которое явно не привыкло к шлему, – посмотрел прямо на неё, и в глазах у него ничего не отразилось. Будто там стояла не девушка с корзиной, а прошлогодний столб.

Так было всегда. С тех пор, как ей исполнилось девять.

Магия не видела её. Не видели её и те, кто смотрел на мир через магию, – а Служба Полудня, как говорили, только так и смотрела. Обычный человек замечал Мирену как любого другого. Ивашка видел, Параска видела, мельник Фрол видел и каждый раз торговался за свою мазь от ломоты так, словно Мирена была его личным врагом. Но если в человеке было

хоть немного теневого колдовства, хоть самая малая заговорённая нитка – взгляд его начинал соскальзывать. Он видел пустое место, в которое не хотелось вглядываться.

Мирена выдохнула. Потом осторожно, очень осторожно подняла глаза на капитана.

Капитан смотрел на неё.

Нет. Не совсем. Он смотрел на кузнеца, на флакон у его носа, на её руку, державшую флакон, – и брови у него медленно сходились к переносице, как у человека, который прочёл в книге знакомое слово, написанное с ошибкой. Он не видел её целиком. Но видел, что что-то не так.

А потом Мирена посмотрела на его ноги.

Солнце стояло точно над ними, и тень капитана лежала у его сапог короткой тёмной лужицей. Обычная тень. Только она была больше, чем нужно. Чуть шире в плечах. Чуть ниже. Мирена с её привычкой всё пересчитывать видела это так же ясно, как видела бы лишнюю медяшку в чужой горсти. Тень была не по размеру. Она сидела на капитане, как сидит на младшем брате кафтан старшего: вроде и впору, а рукава длинноваты.

И ещё. Когда капитан повернул голову, тень повернула свою – на один удар сердца позже.

Чужая.

Мирена отвела глаза, словно обожглась.

– Капитан Вельский, – окликнул его усатый немолодой полуденник с повозки. – Пора. До Ракитного засветло не доберёмся.

– Иду, Борута, – отозвался капитан. Брови его разошлись, он моргнул – и взгляд соскользнул, и Мирены для него снова не стало. Он поднялся в седло.

Звон медной пластины поплыл обратно к дороге. Повозка с жестяным коробом заскрипела следом. В коробе, Мирена знала, стояли рядами стеклянные сосуды, и теперь их стало на один больше.

Когда пыль за отрядом осела, Сухой Брод ожил разом, как оживает курятник, из которого ушла лиса. Бабы загалдели, кто-то плакал, кто-то ругал Бережату, кто-то – Гордея, который сам виноват, нечего было закладываться. Староста Лукьян, отсидевшийся всё это время за плетнём, вышел и важно сказал, что надо собрать на выкуп. Все согласились. Никто не дал ни медяшки. Сорок полуденников с процентами – это была цена трёх коров и избы впридачу, и все понимали, что Гордей больше никогда не будет ковать.

Мирена отвела его в избу. Он шёл послушно, как ребёнок, и на пороге своей кузницы остановился, долго смотрел на наковальню, а потом спросил у Усти:

– Это наше?

Устя не ответила.

Мирена оставила им настой валерианы и мелиссы – бесплатно. Это было против её правил. Правила были простые: всё стоит денег, доброта тоже, и если отдавать её даром, то в одну зиму окажешься в сугробе с пустой кружкой на полке. Бабка Мокрина учила её этому, пока была жива, и сама же этих правил никогда не соблюдала. Мирена поклялась себе, что будет умнее бабки. Пока что клятва держалась плохо.

К реке она так и не пошла. Вернулась домой, задвинула засов, села на лавку под пучками зверобоя и долго сидела, глядя в стену. Чёрная кошка Сажа запрыгнула ей на колени, потопталась и улеглась, тёплая и тяжёлая, как нагретый в печи камень.

– Ты видела? – спросила её Мирена. – Ты видела, как он смотрел на свою кузню?

Сажа не ответила. Кошки вообще мало говорят о важном.

Мирена знала, как он смотрел. Она знала этот взгляд изнутри.

Ей было девять, когда она продала свою тень. Она помнила об этом не так, как помнят события, а так, как помнят сон: обрывками, с пустыми местами. Помнила реку, пристань в Велиграде, куда она добралась с плотогонами, помнила, как ныли ноги и как пахла смола. Помнила баржу. Помнила старуху – высокую, с белыми глазами и трубкой в зубах, – которая

щупала её лицо сухими пальцами и говорила что-то про чистую тень, про хороший товар. Помнила три серебряные монеты, тяжёлые, тёплые от чужой ладони. На них лекарь Хмара лечил Тишку всю осень, приходил через день, ставил банки, поил горькими порошками. Помнила, как Тишка смеялся, когда ему стало лучше на Зимник. Помнила, как он умер на Солнцеворот.

А матери не помнила.

Мать умерла, когда Мирене было семь, а Тишке три. До девяти лет Мирена помнила её – должна была помнить, все помнят. Но та часть памяти ушла вместе с тенью. В тени живёт память рода: лица предков, ремёсла, клятвы, песни. Мирена отдала тень – и вместе с ней отдала мамино лицо. Не знала, какого цвета были у матери глаза. Не знала, как звучал её голос. От колыбельной, которую мать ей пела, осталась одна строчка, и даже в ней Мирена не была уверена: «Спи, ольшинка, спи, тростинка...» Дальше – пустота. Будто страницу вырвали из книги и на её месте остался узкий корешок.

Зато магия её не брала.

Это было единственное, что она получила в придачу к трём монетам. Ни сглаз, ни порча, ни приворот, ни заговор на хворь. Однажды на ярмарке в Ракитном бродячая гадалка взяла её за руку, долго смотрела в ладонь и вдруг отдёрнула пальцы, как от горячего: «Пусто у тебя, девка. Ни судьбы не видать, ни смерти». И денег не взяла. Мирена тогда смеялась. Потом перестала.

Потому что ночами, когда не спалось, приходила мысль, от которой некуда было деться. Если в тени память рода, если в ней матери, деды, прадеды, все, кто был до тебя, – то кто ты без неё? Человек? Или так, кукла из мяса, которая ходит, ест и считает медяшки, а внутри пусто, как в сосуде с вынутой пробкой?

«Не настоящая», – говорила темнота.

Мирена в ответ считала. Медяшки в кружке, пучки на балках, дни до первого снега. Счёт помогал. Цифры были настоящие, а значит, и тот, кто считает, – тоже.

Сажа заворочалась и спрыгнула на пол.

Мирена встала, подошла к окну. Солнце давно ушло с полудня, тени вытянулись, переползли через дорогу. У колодца стояли две бабы и показывали в сторону кузницы. Ворона на журавле наконец каркнула, хрипло и коротко.

Она думала о капитане. Не о лице – лицо было как лицо, хотя и приятное. О тени. О тени, которая поворачивалась на удар сердца позже, чем он сам. Такое бывает, говорила бабка Мокрина, когда тень надета с чужого плеча. Когда она не родилась с человеком, а приросла потом. И тогда человек начинает понемногу забывать своё – потому что чужая тень тянет за собой чужую память, а своей становится тесно.

Капитан Службы Полудня, который сам носит чужую тень. Человек, который вырезает тени из других, а сам ходит в заёмной.

– Ну и дурак, – сказала Мирена вслух, сама не зная, к кому обращается.

Вечером она всё-таки сходила к старице за аиром. Вода была тёплая и тёмная, над ней дрожали комары, и в камышах кто-то большой и неторопливый бултыхнулся – щука или бобёр. Мирена накопала корней, промыла, сложила в мешочек и уже поднималась по тропке к деревне, когда заметила, что стало тихо.

Не так тихо, как бывает вечером. По-другому.

Лягушки в старице замолчали разом, будто им кто-то зажал рты. Перестали звенеть комары. Ветер, всю дорогу шевеливший камыш, лёг. Даже вода, казалось, перестала течь. Мирена остановилась на тропе. Сердце у неё стукнуло раз, другой и пошло быстрее.

Над лесом за полями поднималась луна, большая, ещё красноватая. И в её свете по жнивью, от тёмной кромки леса к деревне, что-то двигалось.

Оно было похоже на дым. На столб дыма, который не поднимается вверх, а идёт по земле, перебирая клубами, как ногами. Высокое – выше человека на голову, а то и на две. Сквозь

него просвечивали звёзды. Там, где оно проходило, стерня седела, будто её прихватило инеем, хотя ночь была тёплая.

А на самом верху, там, где у человека была бы голова, горели две бледные точки. Как искры, которые не гаснут.

Мирена не побежала. Не потому, что была храбрая, – ноги не слушались. Она стояла с мешочком аира в руке и смотрела, как тварь, о которой рассказывали только шёпотом и только в чужих деревнях, идёт к Сухому Броду.

Пустень.

Тварь остановилась на краю поля. Повернула голову – медленно, будто прислушиваясь. Две бледные искры качнулись и замерли.

Они смотрели прямо на Мирену.

Глава 2. Пустень

Бабка Мокрина говорила: если встретишь зверя, не смотри ему в глаза и не поворачивайся спиной. Смотри в сторону, чуть мимо, будто он тебе неинтересен, и отходи бочком. Про пустеней бабка не говорила ничего. Про пустеней в Сухом Броде вообще не говорили, потому что их здесь никогда не было. Они жили в рассказах заезжих торговцев, в страшилках, которыми пугали детей, в песнях слепых гусляров, которые раз в год приходили на ярмарку в Ракитное и пели про то, как в старину пустень выел память у целого города и люди там забыли, как разводить огонь.

Мирена смотрела мимо. На кромку леса, на луну, на стерню, седую от инея. Только краем глаза держала две бледные искры.

Искры не двигались.

Ветер так и не поднялся. В тишине Мирена услышала, как в деревне за её спиной хлопнула дверь, как заплакал чей-то ребёнок и тут же замолчал. Пахло холодом – не осенним, а каким-то погребным, затхлым, как пахнет в доме, где давно никто не живёт.

Тварь сделала шаг. Не к ней – в сторону, вдоль края поля, и Мирена увидела, что клубы дыма у самой земли и правда похожи на ноги: длинные, тонкие, детские, они ступали неуверенно, будто разучились ходить. Потом второй шаг. Третий. Пустень обходил её по дуге, держась на одном расстоянии, как обходит собака незнакомого человека, которого не знает, чей он.

Мирена не дышала.

На четвёртом шаге тварь наклонила голову. Совсем чуть-чуть, набок. Так наклоняет голову ребёнок, когда слушает, о чём говорят взрослые, и не понимает половины слов. И этот наклон – Мирена потом много раз пыталась объяснить себе, почему – был ей знаком. Она его видела. Где-то, когда-то, давно. Видела, как кто-то маленький так же склонял голову, глядя на неё снизу вверх.

Пустень издал звук. Не рык и не вой – тихий выдох, похожий на долгое «а-а-а», какое тянет человек, пытающийся вспомнить забытое слово.

А потом отвернулся и пошёл в деревню.

Мирена очнулась, когда он уже был у крайних изб. Мешочек с аиром выпал у неё из рук. Она побежала – не от твари, а за ней, по тропе, мимо огородов, перескакивая через грядки, и уже на бегу подумала, что сошла с ума. Что она сделает? Чем? Ножиком для трав? Флаконом нюхательной соли? У неё в избе висят полынь и зверобой, которые, говорят, отгоняют нечисть, но это говорят те же люди, что верят, будто кузнец без тени к утру вспомнит, как ковать.

Она добежала до колодца и остановилась.

Пустень стоял посреди улицы. Ворона с журавля исчезла. Ставни во всех избах были закрыты – запирались, наверное, ещё с вечера, после полуденников, – но тварь, казалось, это не заботило. Она стояла, медленно поводя головой, как будто принюхивалась. Потом двинулась к избе Параски.

Мирена видела, как она подошла к стене и вошла в неё.

Не сквозь дверь. Не сквозь окно. Прямо в бревенчатую стену, как в туман. Дымные края её на мгновение замерли на брёвнах, словно сажа, а потом втянулись следом, и стена снова стала стеной.

Из избы не донеслось ни звука.

Мирена кинулась к двери. Дверь была заперта, Параска всегда запиралась на два засова, потому что боялась, что к ней залезут за последней курицей. Мирена заколотила кулаками.

– Параска! Открой! Параска!

Тишина. Потом изнутри – шаги, тяжёлые, шаркающие. Скрип засова. Ещё один. Дверь приоткрылась на ладонь, и в щели показалось лицо вдовы, белое в лунном свете, с круглыми, ничего не выражающими глазами.

– Чего тебе? – спросила Параска.

– Ты... Ты цела? Где Ивашка?

Параска моргнула.

– Кто?

У Мирены похолодело внутри.

– Ивашка. Твой сын. Восемь лет, коленка разбита, я ему днём повязку...

– А, – сказала Параска. – Мальчишка какой-то спит. На печи. Я не знаю, чей. Пришёл, лёг. Я подумала, гоню его – а куда ж гнать ночью. Пусть спит.

И закрыла дверь.

Мирена стояла перед дверью и слушала, как задвигаются засовы. Раз, два. За дверью шаркнули шаги и стихли. Ей хотелось закричать, выломать эту дверь, схватить Параску за плечи и трясти, пока та не вспомнит. Но где-то в глубине, холодной и трезвой, которая всегда считала за неё, когда сама она не могла, Мирена уже понимала: не вспомнит. Ни от тряски, ни от крика.

Пустень уже вышел. Она увидела его у избы мельника – он выходил из стены так же, как вошёл, и дымные края его теперь были чуть плотнее, чуть темнее. Будто он поел.

Он ест память, вспомнила Мирена слова гусляров. Голодная тень без хозяина, которая ест чужое, потому что своё потеряла.

Она пошла за ним.

Она шла за ним по всей деревне, от избы к избе, и тварь не обращала на неё внимания. Только иногда, выходя из очередной стены, замирала и поворачивала голову туда, где стояла Мирена, – не глядя, а будто прислушиваясь, будто чуяла её не глазами, а чем-то другим. Раз Мирена подошла совсем близко, на три шага, так, что почувствовала этот погребной холод на лице. Протянула руку. Тварь не шевельнулась.

Вблизи она была не совсем дымом. Внутри неё, в глубине клубов, что-то двигалось: мелькали какие-то пятна, тени, обрывки, как картинки в мутной воде. Мирена увидела – или ей показалось – руку, держащую деревянную ложку. Рыжую кошку на заборе. Лоскутное одеяло, синее с жёлтым. Огонь в печи. Чьи-то ноги в лаптях, бегущие по траве.

Пустень снова выдохнул своё «а-а-а». На этот раз тише. Почти жалобно.

– Кто ты? – прошептала Мирена.

Тварь качнулась. Две бледные искры опустились – тварь будто пригнулась, чтобы быть с ней одного роста, – и на мгновение Мирене показалось, что сейчас она что-то скажет. Что сейчас из этого дыма прозвучит слово.

Где-то в конце улицы заскрипела дверь, и кузнец Гордей вышел на крыльцо в одной рубахе, с фонарём в руке.

– Кто тут? – крикнул он в темноту. – Кто ходит?

Пустень повернулся к нему.

– Гордей, назад! – закричала Мирена. – В избу! Закрой дверь!

Кузнец не услышал или не понял. Он стоял с фонарём, щурясь, и смотрел прямо на тварь, и Мирена видела по его лицу, что он её не видит, – как не видят пустеней все, у кого есть тень. Видят только, что стало темно и холодно, что фонарь светит хуже, что по спине бегут мурашки.

Пустень пошёл к нему.

И вдруг остановился. Наклонил голову, повёл ею – туда, сюда, – и Мирена поняла: ему нечего здесь есть. У Гордея больше нет тени. Тень кузнеца лежит в стеклянном сосуде в жестяном коробе, и с ней ушла его память рода, а того, что осталось, этой твари, видно, было мало. Или не то. Пустень постоял, будто разочарованно, и отвернулся.

Гордей поднял фонарь повыше, пожал плечами и ушёл в избу.

Мирена засмеялась. Нервно, коротко, зажимая рот ладонью. Кузнец без тени – единственный, кого эта ночь обошла. Если это не насмешка, то что тогда насмешка?

Тварь ушла под утро. Мирена видела, как она вышла из последней избы – Лукьяновой, старостиной, – постояла на краю деревни, обернулась ещё раз туда, где стояла Мирена, и двинулась по жнивью к лесу. Медленно, тяжело, как сытый зверь. Иней за ней не таял до самого рассвета.

Мирена не спала. Она сидела на крыльце бабкиной избы, закутавшись в шаль, и ждала солнца.

Утро было страшным.

Не потому, что кто-то кричал. Наоборот. Деревня проснулась тихо, слишком тихо, и люди выходили из изб так, как выходят на чужой двор: оглядываясь, неуверенно, будто ожидая, что сейчас выбежит хозяин и прогонит. Мирена ходила между ними, и с каждым двором ей становилось холоднее.

Мельник Фрол стоял у своей мельницы и чесал затылок. Он помнил, что он мельник. Помнил, как молоть, как поднимать заслонку, как подсыпать зерно. Не помнил своего имени. Не помнил, как зовут жену. Жена, тощая Агафья, сидела на пороге и плакала – не от горя, а от растерянности, потому что и она не помнила, кто этот бородатый мужик и почему он стоит у её мельницы.

Староста Лукьян помнил, что он староста. Помнил все долги всех дворов до последней медяшки. Не помнил, сколько у него детей. Насчитал троих и долго смотрел на четвёртую, младшую, Дуняшу, которая стояла перед ним в рубашонке и тянула к нему руки.

У Параски на печи спал мальчик. Она его накормила кашей, потому что мальчик был голодный, а она не злая. Ивашка ел кашу и всё спрашивал: «Мамка, ты чего?» А Параска гладила его по голове и говорила: «Ешь, ешь, сирота».

Ивашка помнил её. Дети, как скоро поняла Мирена, помнили почти всё. Тварь брала у взрослых – у тех, в чьей тени было больше. Детская тень ещё тонкая, память рода в ней ещё не отстоялась, и пустеню она, видно, была не по вкусу. Или не по силам. Мирена не знала. Она узнавала всё это наспех, от двора ко двору, и записывала в голове, как записывала рецепты: кто что забыл, кто что помнит.

К полудню счёт сложился. Из сорока с лишним взрослых в Сухом Броде своих имён не помнили двадцать два. Ещё семеро не помнили мужей или жён. Трое не узнавали собственных детей. Старая Ефросинья, которая сорок лет пряла лучшую пряжу в округе, сидела над прялкой и плакала, потому что пальцы помнили, а голова – нет.

Никто не помнил ночи. Никто не видел твари. Люди говорили: ночью было холодно, снилось что-то тяжёлое, проснулся – а в голове как выметено.

Мирена помнила всё.

Около полудня, когда солнце поднялось высоко, она вышла на середину деревни, к колодцу, и встала там, глядя на свою тень. Вернее – на то место, где её не было. Утоптанная земля, пыль, соломинка, муравей тащит дохлую муху. Ничего. Как всегда.

Тварь её не тронула. Тварь ходила вокруг неё, как вокруг столба. Не потому, что не видела, – Мирена была уверена, что тварь её видела, или чуяла, или узнавала каким-то своим, нечеловеческим способом. А потому, что не хотела. Или не могла.

Это было хуже, чем если бы она напала.

Если бы напала – было бы понятно. Голодный зверь ест, что найдёт. Но тварь знала её. Тварь наклоняла голову, как маленький ребёнок. Тварь тянула своё «а-а-а», словно пыталась позвать по имени и не могла вспомнить, как это имя звучит. И внутри у твари было синее с жёлтым лоскутное одеяло.

Мирена закрыла глаза.

Синее с жёлтым. Она знала это одеяло. Не помнила – но знала, как знают слово на чужом языке, которое когда-то слышали и забыли. Где-то оно было. Где-то оно укрывало кого-то тёплого и маленького. Её? Тишку?

– Ведьма! – окликнули её.

Мирена открыла глаза. К колодцу шла Устя, Гордеева жена, и вела за руку Гордея. Кузнец шагал послушно, разглядывая деревню с тихим любопытством путника.

– Ведьма, ты травы знаешь, – сказала Устя, и голос у неё срывался. – Ты бабкины книги читала. Что это? Что с людьми-то? Мор какой?

На них смотрели. От изб, от плетней, с крылечек. Человек двадцать, а то и больше. Те, кто помнил, и те, кто не помнил, но понимал, что с ним что-то не так. Мирена видела их лица и понимала: им нужно, чтобы кто-то сказал хоть что-нибудь. Объяснил. Назвал. Пусть даже страшное – лишь бы назвал.

– Не мор, – сказала она. – Ночью приходил пустень.

По толпе прошёл шорох. Кто-то ахнул, кто-то засмеялся неуверенно. Староста Лукьян, всё ещё державший за руку младшую дочь, которую так и не признал, нахмурился.

– Сказки, – сказал он. – Пустеней не бывает. Это в песнях только.

– Бывает, – сказала Мирена. – Я видела. Высокий, как дым, глаза светятся. Он ходил по избам. Входил сквозь стены. Брал у вас память.

– А тебя что ж не взял? – спросил кто-то из-за спин. Мирена не разглядела кто.

Она открыла рот – и закрыла. Что тут скажешь? Потому что у меня нет тени, и ему нечего у меня взять? Скажи это – и к вечеру вся деревня будет знать то, что Мирена тринадцать лет прятала. Скажи это – и в следующий раз, когда придёт Служба Полудня, кто-нибудь шепнёт капитану, что вон та, с корзиной, должница без залога.

– Я не спала, – сказала она. – Сидела над травами. Он, видно, к бодрствующим не ходит.

Объяснение было так себе. Но люди хотели верить, и они поверили. По крайней мере сейчас.

– Что ж теперь делать? – спросила Устя.

Мирена посмотрела на неё. На Гордея, который с интересом разглядывал колодезный журавль, словно видел его впервые. На Параску, которая стояла поодаль и держала за плечо Ивашку – крепко держала, по-хозяйски, хотя и не помнила, что он её.

– Не знаю, – честно сказала Мирена. – Пока не знаю.

Она хотела добавить что-то ещё. Что-то утешительное, хотя бы про отвар из шалфея, который, говорят, проясняет голову. Но тут снова зазвенело.

Железо о железо. Мерно и холодно.

Люди у колодца обернулись к дороге.

По ней, поднимая пыль, шёл отряд в белых плащах. Не шестеро – трое. Впереди, без шлема, ехал тот самый капитан с серыми глазами. Лицо у него было осунувшееся, он, видно, тоже не спал. Конь под ним был в мыле: гнали издалека, гнали быстро.

– Вернулись, – выдохнула Устя. – Солнце ясное, за кем ещё-то?

Мирена знала, за кем. То есть не знала – но почувствовала тем самым холодным местом под рёбрами, которое никогда не ошибалось насчёт денег и людей.

Солнце стояло в зените. Ближе к полудню уже не бывает.

А она стояла посреди площади, у колодца, на открытом месте, и под ногами у неё не было ничего.

Глава 3. Должница без залога

Капитан Ярош Вельский не спал вторые сутки, и мир от этого стал ясным и плоским, как картинка в книге. Так бывало всегда, если долго не спать: краски делаются резче, звуки громче, а мысли выстраиваются в ряд, как солдаты на смотру. Ярош любил это состояние. В нём было меньше места для того, о чём думать не хотелось.

Вестовой из Ракитного догнал отряд на рассвете. Мальчишка гнал коня всю ночь и, когда спрыгнул на землю, едва устоял на ногах. В Ракитном пустень, сказал он. Или мор. Или колдовство. Полдеревни не помнит своих имён. И ещё – в Сухом Броде, говорят, то же самое.

Ярош знал, что пустени бывают. Его учили этому в Школе Полудня, на третьем году, в длинном холодном зале с узкими окнами, где старый наставник Велимудр водил указкой по рисункам в огромной книге. Отделённая тень, оставленная без хозяина дольше сорока дней, теряет форму и обретает голод. Пустень – не зверь и не дух. Это тень, которая забыла, чья она, и пытается заполнить пустоту чужой памятью. Сожрать его нельзя, убить нельзя, можно только загнать в сосуд, если поймать, а поймать почти невозможно, потому что пустень не держится ни на одном теневом крючке.

Последний пустень в Орвени был пойман девяносто лет назад. С тех пор Служба Полудня строго следила за тем, чтобы ни одна заложенная тень не оставалась без хозяина больше тридцати девяти дней. Всякую тень, которую не выкупили, продавали – или надевали на наследника. Так велел закон. Так было правильно.

И вот – пустень. Два села за одну ночь.

Ярош оставил Боруту с повозкой и тремя людьми ждать в Ракитном – там пострадавших было больше, и надо было записать всех, кто что забыл, – а сам с двумя полуденниками погнал коней обратно в Сухой Брод. Почему именно сюда, он себе толком не объяснил. Сказал Боруте, что надо сравнить. Это было правдой. Но не всей.

Всей правдой было то, что вчера в Сухом Броде он увидел пустое место.

Он увидел его у кузницы, когда забирал тень. Кузнец покачнулся, кто-то подхватил его – и в этом «кто-то» было что-то неправильное. Ярош помнил руку с флаконом. Тонкую руку, загорелую, с пятнами от трав на пальцах. Помнил, что рука принадлежала девушке. И не мог вспомнить ни лица, ни роста, ни волос. Будто смотрел в зеркало, у которого стёрта середина.

Так не бывает. Его учили видеть. Каждого полуденника учат видеть так, что он отличит тень вдовы от тени её покойного мужа по одному изгибу плеча. А тут – пустота, которая ловко подхватывает кузнецов.

Конь вынес его на деревенскую площадь, когда солнце стояло в зените.

Площадь была полна. Толпа у колодца – два десятка человек, может, больше. Ярош сразу увидел, что с людьми не так: они стояли не кучками, как стоят соседи, а поодиночке, будто чужие. Мужчина держал за плечо мальчишку и смотрел на него с недоумением. Женщина вела под руку вчерашнего кузнеца. Ярош поморщился. Он не любил возвращаться туда, где уже взыскивал.

– Служба Полудня, – сказал он громко. – Кто здесь староста?

Вышел толстый мужик с бородой. Девочка лет пяти цеплялась за его штанину, и он время от времени косился на неё, как на прилипший репей.

– Лукьян я. Староста.

– Что у вас было ночью?

Лукьян начал рассказывать. Рассказывал плохо, путано, сбивался – и Ярош видел, что тот сам не понимает, о чём говорит. Ночью было холодно. Утром не помнят. Многие. Мор, может. А ведьма говорит – пустень.

– Ведьма? – переспросил Ярош.

– Травница наша, – Лукьян обернулся. – Да вон она. У колодца.

Ярош посмотрел на колодец.

У колодца было пусто. То есть там стоял журавль, ведро на цепи, кто-то из баб с коромыслом. И было ещё что-то, на чём взгляд не хотел задерживаться. Глаза скользили мимо, как скользит нога по мокрому камню. Ярош нахмурился и заставил себя посмотреть ещё раз. Медленно. Так, как учили смотреть на подделанную тень: не прямо, а краем, чуть мимо.

И увидел.

Девушка. Невысокая, худая, в выцветшем зелёном платье с подоткнутым подолом и стоптанных башмаках. Тёмные волосы, заплетённые в тугую косу, выбились у висков. Лицо скуластое, загорелое, с острым подбородком. Глаза тёмные, внимательные, как у кошки, которая решает, бежать ей или драться. Пятна от трав на пальцах.

Та самая.

Она поняла, что он её видит. Ярош заметил это по тому, как она замерла.

Солнце стояло прямо над головой. Тени у всех на площади съёжились до чёрных пятен у пяток. У мужика с мальчишкой. У бабы с коромыслом. У кузнеца, у которого тени уже не было, – но кузнец был понятен, Ярош сам её вчера срезал. У старосты. У девочки, цеплявшейся за его штанину.

У девушки у колодца под ногами не было ничего.

Ярош почувствовал, как в груди у него что-то медленно сжалось, как сжимается кулак. Пустое место на земле. Ни пятнышка. Ни намёка. Пыль, соломинка, муравей.

Человек без тени. Не срезанной по закону – тогда он знал бы, тогда в деревне был бы записанный должник, как кузнец, и о нём сказали бы. Нет. Тень была отделена давно. Так давно, что даже память о ней стёрлась. И никто здесь, похоже, не знал. Ни староста, ни соседи.

Закон о должниках без залога Ярош знал наизусть. Его знал наизусть каждый полуденник. Всякий человек, лишённый тени не по приговору Службы и не имеющий о том грамоты, считается должником без залога и подлежит задержанию для выяснения. Тень его считается проданной незаконно, а сам он – укрывателем. Его везут в Велиград, в Палату Печати, и там решают, что с ним делать.

Ярош знал, что там решают. Он сам отвозил таких двоих за шесть лет службы. Оба потом пропали, и запросы его остались без ответа.

– Ты, – сказал он девушке, спешиваясь. – Подойди.

Она не двинулась.

– Капитан? – младший из полуденников, конопатый Сенька Хмель, тронул его за локоть. – Вы кому?

– Ей, – Ярош кивнул на колодец.

Сенька посмотрел туда же. Лицо его ничего не выразило.

– Там баба с ведром, капитан.

– Не баба. Девушка. В зелёном. Ты не видишь?

Сенька честно вгляделся. Потом виновато пожал плечами.

Вот как, подумал Ярош. Значит, не только у меня. Значит, она вообще не видна теневым. И только чужая тень на нём, тень отца, которая видела мир немного иначе, немного шире, чем его собственная, позволила ему разглядеть то, на что любой другой полуденник смотрел бы и не замечал.

– Именем закона, – сказал он, шагнув к колодцу. – Ты – должница без залога. Я обязан тебя задержать.

Толпа зашевелилась. Люди переглядывались, не понимая, к кому он обращается. Девушка смотрела ему в лицо. Странно: он думал, что увидит страх, а увидел злость. Чистую, рабочую злость, как у человека, у которого прямо на ярмарке вырвали из рук кошель.

– Ошибаешься, капитан, – сказала она. Голос у неё был низкий, хрипловатый. – Я здесь просто воду беру.

– У тебя нет тени.

– Солнце в глаза, тебе показалось.

– Мне не показалось.

– Значит, ты не выспался. У тебя под глазами круги, как у филина. Я тебе дам отвар ромашки. Две медяшки. Для Службы – три.

Кто-то в толпе нервно хихикнул. Ярош шагнул ближе. Он не любил, когда над законом смеялись, – не из гордости, а потому, что закон был единственным, что стояло между людьми и тем, что люди делали друг с другом, когда закона не было.

– Не дури, – сказал он тихо. – Я не хочу хватать тебя при всех. Пойдём спокойно. В Велиграде разберутся.

– В Велиграде, – повторила она. И что-то мелькнуло в её лице, быстрое, тёмное. – Знаю я, как разбираются в Велиграде.

Он протянул руку, чтобы взять её за локоть.

Она плеснула ему в лицо водой из ведра.

Вода была ледяная – колодец здесь был глубокий, – и на мгновение Ярош ослеп и задохнулся. Когда он протёр глаза, у колодца было пусто. То есть не пусто, конечно, – там стояла баба с коромыслом и смотрела на него круглыми глазами, – но девушки не было.

– Капитан! – закричал Сенька. – Вы что?

– За ней! – рявкнул Ярош.

– За кем?!

Ярош не ответил. Он увидел, как мелькнуло зелёное между избами, как качнулась калитка в плетне, и побежал.

Бегать в полуденном доспехе по деревне – удовольствие сомнительное. Кольчуга под белым плащом весила полпуда, сапоги вязли в грядках, плащ цеплялся за колья плетней. Девушка бежала легко, как заяц, и не по улице, а огородами, задами, через кусты смородины, через канаву, по брёвнам, перекинутым через протоку у мельницы. Ярош терял её из вида каждые десять шагов и каждый раз находил снова – не глазами, а тем странным чувством, которое дала ему отцовская тень. Будто в мире была дыра, и эта дыра двигалась.

За мельницей начинался луг, за лугом – тальник, за тальником – болота.

Девушка добежала до тальника и обернулась. Ярош был в двадцати шагах. Она посмотрела на него, на Сеньку, который пыхтел где-то сзади, путаясь в собственном плаще, и вдруг улыбнулась. Неприятно улыбнулась. Так улыбается хозяйка, когда торговец наконец называет её цену.

– Не ходи за мной, капитан, – крикнула она. – Утонешь.

И нырнула в кусты.

Ярош остановился, тяжело дыша. Пот заливал глаза. Кольчуга давила на плечи. Позади Сенька наконец догнал его и согнулся пополам, упираясь руками в колени.

– Капитан, – выдохнул он. – Капитан, вы за кем бежали? Там же никого не было. Я ничего не видел.

– Знаю, – сказал Ярош.

– Это... это пустень? Вы его видите?

– Нет. Не пустень. Человек.

– А почему я не вижу?

Ярош посмотрел на него. Конопатый Сенька Хмель, восемнадцать лет, второй год в Службе, сын пекаря из Нижнего города, честный, глуповатый, восторженный. Носит собственную тень, чистую, без единого заклада, ни разу не потерявшую ни капли памяти. Таких наби-

рали в Службу нарочно – молодых, нетронутых, чтобы теневое колдовство ложилось на них ровно.

А он, Ярош, носил отцовскую. Три года. И за эти три года уже не мог вспомнить, какого цвета были глаза у его собственной матери. Зато прекрасно помнил, как отец в пять лет упал с дедовой лошади и сломал руку. Помнил деда Мстивоя, которого Ярош не застал, – его бороду, его табак, его поговорки. Помнил то, чего не было с ним, и забывал то, что было.

Цена. Каждый, кто носит чужую тень, понемногу забывает своё.

– Потому что у тебя хорошая тень, Сенька, – сказал он. – Иди назад. Скажи Неждану, пусть ждёт с конями у мельницы. И пусть никого в деревне не трогают.

– А вы?

– А я схожу посмотрю на болото.

– Капитан, – Сенька замялся. – Вы же сами говорили: в одиночку в незнакомые болота не ходить. Это в уставе.

– Я помню, что в уставе, – Ярош снял шлем, пристегнул его к поясу, расстегнул пряжку тяжёлого плаща и бросил плащ на руки Сеньке. Кольчугу снимать было долго; он подумал и оставил. – Иди.

Сенька ушёл, оглядываясь.

Ярош постоял на краю тальника, глядя на заросли. Над болотом дрожал горячий воздух. Пахло тиной, багульником, гнилым деревом. Где-то далеко кричала выпь – глухо, протяжно, словно в бочку.

Он мог бы не идти. Мог бы вернуться в деревню, записать имя травницы со слов старосты, отправить донесение в Велиград, и пусть там решают. Так было бы по закону. Так было бы правильно – и, главное, безопасно.

Но он вспомнил двоих должников без залога, которых отвёз в Палату Печати. Вспомнил, как старший секретарь Палаты, тощий человек с жёлтыми ногтями, расписался в получении и сказал: «Благодарим, капитан, дальше мы сами». Вспомнил, как через месяц спросил о них – и секретарь посмотрел на него, будто не понимая вопроса.

И вспомнил ещё одно. Тварь, которая выела память у двух деревень за одну ночь. Пустень, которых не бывало девяносто лет. И девушку без тени, которая стояла у колодца на следующее утро, ясноглазая, злая, и помнила всё.

Девушка знала про пустеня. Девушка сказала «пустень», когда никто в деревне в него не верил.

Ярош шагнул в тальник.

Кусты сомкнулись за его спиной. Под сапогами захлюпало. Тропы не было – или была, но такая, что видел её только тот, кто здесь вырос. Он шёл по примятой траве, по сломанным веточкам, по чёрным следам на мху. Следы были маленькие, неглубокие. Девушка шла легко. Он – нет.

Через сотню шагов тальник кончился, и Ярош вышел на открытое место. Перед ним лежало болото – широкое, ровное, ярко-зелёное, как луг. Кочки, затянутые клюквой. Окна чёрной воды. Редкие кривые сосенки, тонкие, как прутья. И посреди этого – на кочке, шагах в тридцати, стояла девушка в зелёном платье и смотрела на него.

– Я же сказала: не ходи, – крикнула она.

– Я не могу не ходить, – ответил Ярош. – Это моя служба.

– Твоя служба – вырезать у людей память и складывать в банки.

– Моя служба – следить, чтобы долги платились по закону. И чтобы по ночам в деревни не ходили пустени.

Она вздрогнула. Он увидел это даже с тридцати шагов.

– Ты знаешь про пустеня, – сказал он. – Ты видела его. Что ты знаешь ещё?

Девушка долго молчала. Солнце било ей в спину, и вокруг её головы светились выбившиеся из косы волосы. А под ногами, на ярко-зелёной кочке, не было ничего.

– Знаю, что он не тронул меня, – сказала она наконец. – А больше ничего тебе не скажу, капитан. Ступай домой. Здесь глубоко.

Она повернулась и пошла дальше, прыгая с кочки на кочку, лёгкая, уверенная.

Ярош проводил её взглядом. Потом посмотрел на болото. Потом на кочку прямо перед собой, крепкую с виду, поросшую мхом.

И шагнул.

Глава 4. Трясина

Кочка выдержала. Вторая тоже. На третьей сапог ушёл в мох по щиколотку, и Ярош замер, балансируя, как канатоходец на ярмарке, но мох чавкнул и отпустил. Четвёртая была твёрдая, как пол.

Он шёл по следам. Девушка оставляла их нарочно или по небрежности – вмятины на мху, раздавленные ягоды клюквы, сорванный стебель осоки. Шла она не прямо, а петлями, обходя одни места и смело ступая на другие, которые казались Ярошу страшнее. Он старался ступать точно туда же. Это было непросто: шаг у неё был короче, и ему приходилось семенить, как старику на льду.

Впереди мелькало зелёное платье. То ближе, то дальше. Иногда она останавливалась и оглядывалась – он видел, как она поворачивает голову, – и шла дальше, не ускоряя и не замедляя шага. Будто вела.

Ярош понимал, что его ведут. Не дурак. Но выбора у него не было: вернуться он теперь мог только по тем же следам, а следы за спиной уже затягивало водой.

Болото было огромное. Через полчаса деревня и тальник пропали за спиной, лес отступил куда-то к краю неба, и вокруг остались только зелень, вода, кривые сосенки и небо, белое от жары. Кричала выпь. Звенели комары, облепившие его лицо и шею, и Ярош перестал их отгонять: всё равно без толку. Пот тёк по спине под кольчугой. Кольчугу надо было снять, думал он с каждым шагом всё злее. Устав уставом, а в болото в железе не ходят.

Девушка остановилась на большой кочке, поросшей багульником, и обернулась. Теперь между ними было шагов пятнадцать.

– Устал, капитан? – спросила она.

– Нет.

– Врёшь. У тебя лицо как варёная свёкла. Сними железо, утонешь.

– Если сниму, ты убежишь.

– Я и так убегу. – Она пожала плечами. – Скажи хоть, как тебя звать. Чтоб знать, за кого свечку ставить.

– Ярош Вельский. Капитан Службы Полудня.

– Вельский, – повторила она, будто пробуя слово на вкус. – Это который дом? Который разорился?

Ярош стиснул зубы. Откуда деревенская травница знает, что дом Вельских разорился? Хотя кто этого не знал. Три года назад об этом говорили в каждом трактире от Велиграда до северных застав: старый Станимир Вельский проиграл в кости фамильное имение, заложил последнее, что у него было, – свою тень и тень сына, – и умер, не выплатив ни медяшки. Хорошая история. Её любили пересказывать.

– Тот самый, – сказал он. – А тебя как?

– Меня никак.

– У всех есть имя.

– У всех есть тень, – отрезала она. – А у меня, видишь, нету. Может, и имени нет.

Она спрыгнула с кочки на другую, на третью, и вдруг оказалась у края широкой полосы ровной зелени. Трава там была яркая, сочная, такая, какая растёт на заливных лугах, и стояла ровно, без единой кочки. Шагов двадцать в ширину. Девушка не пошла через неё. Она пошла вдоль края, по узкой гряде кочек, и оглянулась.

– Не ходи за мной, Вельский, – сказала она. – Честно говорю. Пропадёшь.

– Нет.

– Тогда смотри под ноги.

Она прошла по гряде, перепрыгнула на кочку на той стороне и пропала за сосенками. Ярош подошёл к краю зелёной полосы. Посмотрел на гряду, по которой она прошла. Гряда была узкая – в ступню шириной, – и кочки на ней сидели неровно, через одну, с провалами. Девушка перешла её легко. Он не был уверен, что перейдёт.

А зелёная полоса казалась твёрдой. Ровная трава, ни воды, ни ряски. Пять шагов поперёк – и он догонит.

Ярош был городским человеком. Он вырос в Велиграде и в имении под Вельском, где болот не было, а были яблоневые сады и мелкая речка. Он учился в Школе Полудня, где учили многому, но не тому, как ходить по трясине. И он не спал вторые сутки.

Он шагнул на траву.

Трава подалась под ногой, как перина. Ярош попытался выдернуть сапог – и ушёл второй ногой. Сразу по колено. Он рванулся назад, к краю, но болото держало, мягко и крепко, как держит руку тесто. Ещё рывок – и он ушёл по пояс. Холодная жижа сомкнулась вокруг кольчуги, и кольчуга потянула вниз, ровно, неумолимо, как якорь.

Трясина. Конечно. Ровная трава на болоте – это трясина. Это знает любой деревенский ребёнок.

«Не ходи за мной. Пропадёшь».

Ярош перестал дёргаться. Это он помнил – из какой-то книги, или из рассказов, или из чужой памяти: в трясине нельзя дёргаться, она затягивает тем быстрее, чем больше бьёшься. Надо лечь. Распластаться. Раскинуть руки.

Он попробовал откинуться на спину. Кольчуга не дала. Железо тянуло вниз, и он погрузился ещё на ладонь, по грудь. Жижа подступила к подмышкам. Пахло тухлыми яйцами и прелью. Пузыри поднимались вокруг него и лопались с тихим чмоканьем, будто болото облизывалось.

Он мог дотянуться до края. Почти. Если вытянуть руку изо всех сил, пальцы доставали до пучка осоки на ближайшей кочке. Ярош ухватился. Осока резанула ладонь, но выдержала. Он потянул. Тело не сдвинулось ни на вершок. Он тянул, пока в глазах не потемнело, – и осока выдралась с корнем.

Он погрузился по плечи.

Странное дело: страшно не было. Было досадно. Как глупо, думал он с удивительной ясностью. Шесть лет в Службе, двое суток без сна, пустень в двух деревнях, донесение в Велиград не отправлено – и всё это кончится в болоте под Сухим Бродом, потому что он не снял кольчугу и погнался за деревенской травницей. Боруте будет стыдно рассказывать.

И ещё мысль, совсем уж неуместная: тень отца утонет вместе с ним. Долг так и не будет выплачен. Род Вельских кончится не в трактирах и не на кладбище, а в трясине.

Жижа подступила к подбородку. Ярош запрокинул голову, чтобы дышать.

– Дурак, – сказали сверху.

Он скосил глаза. На краю гряды, на той самой узкой кочке, стояла девушка в зелёном платье и смотрела на него с выражением, которое он не сразу смог прочитать. Потом понял: это было раздражение. Злое, усталое раздражение женщины, которой пришлось вернуться, потому что дурак не послушался.

– Я же сказала: пропадёшь, – сказала она. – Я же два раза сказала. Ты глухой или в Службе всех учат не слушать?

– Помоги, – сказал Ярош. Голос вышел сиплым. Жижа подступала ко рту.

– Это будет стоить денег.

– Сколько?

– Всё, что у тебя есть. И ещё ты меня отпустишь.

– Не могу, – сказал он. Это вырвалось само.

Она уставилась на него.

– Ты тонешь, – сказала она медленно, будто объясняла ребёнку. – У тебя болото во рту. А ты торгуешься?

– Я не торгуюсь. Я не могу обещать то, чего не сделаю. Закон...

– Солнце ясное, – сказала девушка с чувством. – Пусть тебя закон и вытаскивает.

Но не ушла. Она стояла, кусая губу, и Ярош видел, как в ней что-то борется. Потом она выругалась – коротко, по-деревенски, такими словами, которых он не слышал даже от Боруты, – легла на кочку животом и протянула ему длинную жердь, неизвестно откуда взявшуюся у неё в руках.

– Хватайся. Не тяни, просто держи. И отстегни свою железку, если сможешь. Она тебя утопит.

Ярош ухватился за жердь одной рукой. Другой нащупал под водой пряжки на боку кольчуги. Пальцы не слушались, кожаные ремешки разбухли. Он рвал их ногтями, пока одна пряжка не поддалась, за ней вторая. Кольчуга сползла с плеч. Он стряхнул её, как змея стряхивает кожу, и почувствовал, как болото сразу отпустило, будто удивилось.

– Теперь ложись, – командовала девушка. – На спину. Медленно. Ноги вверх, как будто плывёшь. Я тяну.

Он лёг. Жижа держала его теперь иначе – не тянула, а покачивала. Девушка тянула. Она была маленькая и худая, и он видел, как побелели её пальцы на жерди и как она упёрлась босыми ногами – башмаки, оказывается, сбросила – в кочку. Тянула медленно, с остановками, по вершку, по ладони. Болото чавкало и не хотело отдавать. Потом отдало.

Ярош выполз на гряду и упал лицом в мох.

Он лежал долго. Дышал. Мох пах клюквой и сыростью. Сердце колотилось так, что отдавалось в висках. Ноги до самого паха были в чёрной жиже, она подсыхала коркой, и от этой корки несло так, что слезились глаза.

Когда он поднял голову, девушка сидела на соседней кочке, обхватив колени руками, и смотрела на него.

– Кольчуга, – сказала она. – Служебная?

– Да.

– Сколько стоит?

Ярош подумал.

– Двенадцать полуденников. Её вычтут из жалованья.

– Хорошо, – сказала девушка с удовлетворением. – Хоть что-то.

Он сел. Голова кружилась. Девушка не убегала. Она сидела совсем близко, в трёх шагах, и он мог бы протянуть руку и схватить её за щиколотку. Она это знала. Он видел, что знает. И всё равно сидела.

– Почему ты вернулась? – спросил он.

– Не знаю. – Она отвернулась. – Дура, наверное. Бабка говорила – у меня сердце дырявое, всё через него утекает. Деньги в первую очередь.

– Ты могла меня оставить. Никто бы не узнал.

– Я бы узнала, – сказала она. И помолчала. – Не люблю, когда люди тонут. Насмотрелась.

Ярош не спросил, на кого она насмотрелась. Он смотрел на её ноги. Босые, исцарапанные, в болотной грязи по щиколотку. Солнце висело уже не прямо над головой – полдень кончился, – но всё ещё высоко, и все кочки вокруг отбрасывали короткие тени. Сосенки отбрасывали тени. Он сам отбрасывал тень – чужую, отцовскую, с чуть широкими плечами.

У неё – ничего.

– Ты не прячешься от магии, – сказал он медленно. – Да? Ты не колдуешь. Не носишь оберегов. Тебя не прикрывает никакая ведьма. Тебя просто... не видно.

Она посмотрела на него. Глаза у неё были тёмные, почти чёрные, и в них не было никакой тайны – только усталость.

– Догадливый, – сказала она. – Для капитана.

– Как это вышло?

– Не твоё дело.

– Я мог бы...

– Ты ничего не мог бы. – Она встала. – Я тебя вытащила. Это стоит больше двенадцати полуденников, но я возьму дешевле. Ты уйдёшь отсюда и забудешь, что видел меня. Напишешь в своей бумаге, что в Сухом Броде был пустень и все ничего не помнят. И не придёшь больше.

Ярош тоже поднялся. Ноги дрожали.

– Я не могу, – сказал он снова. – Ты должница без залога. Это закон.

– Опять двадцать пять. – Она закатила глаза. – Ты что, совсем не умеешь врать?

– Не умею.

– Ну так научись. Тебе пригодится.

Он покачал головой. Она смотрела на него ещё мгновение – с тем самым раздражением, но уже другим, почти весёлым, – потом подняла с кочки башмаки, сунула их под мышку и указала на север, где за сосенками виднелась тёмная полоса.

– Видишь вон ту сухую сосну? С расщеплённой макушкой? Иди прямо на неё. Ступай только туда, где растёт багульник. На зелёную траву не ступай, на рыжий мох тоже. Через версту выйдешь к гати. По гати – в деревню. Если не будешь умничать, к вечеру дойдёшь.

– А ты?

– А я туда, куда тебе не надо.

– Подожди, – сказал Ярош.

Она остановилась.

– Пустень, – сказал он. – Ты сказала, он тебя не тронул. Он тебя видел?

Она долго молчала. Ветер наконец поднялся и пошёл по болоту, шевеля осоку. Где-то снова закричала выпь.

– Он меня узнал, – сказала она очень тихо. – Не видел. Узнал. Будто знал раньше.

И ушла, прыгая с кочки на кочку, не оглядываясь.

Ярош смотрел ей вслед, пока зелёное платье не скрылось за сосенками. Потом сел обратно на кочку и долго сидел, глядя на трясину, которая уже затянулась ровной травой, будто ничего не было. Кольчуга лежала где-то там, на дне, – двенадцать полуденников из жалованья.

Магия её не видела. Не потому, что она пряталась, – а потому, что прятаться было нечему. Она была как прореха в ткани, как пустое место в строю. Ни одно теневое заклятие не могло её найти. Ни один теневой крюк не мог её зацепить. Ни одна пустень не могла её съесть.

И пустень её узнал.

Ярош поднялся и пошёл к сухой сосне, ступая только на багульник. Он шёл и думал, и мысли эти не нравились ему всё больше. Потому что Ярош Вельский, капитан Службы Полудня, честный до глупости, как говорил о нём Борута, в первый раз за шесть лет службы не знал, что напишет в донесении.

К вечеру он вышел к гати. Гать была старая, полусгнившая, но держала. А у начала гати, на сухом бугре, стоял конь – его собственный конь, рыжий Огонёк, – и рядом с конём Сенька Хмель, белый как полотно.

– Капитан! – Сенька кинулся к нему. – Капитан, слава Полудню! Мы уж думали... Капитан, гонец. Из Велиграда. Прискакал час назад. Ищет вас по всем деревням.

– Что за гонец?

Сенька протянул ему свёрток – узкий, запечатанный чёрным воском. На воске был оттиск, который Ярош узнал бы среди тысячи: семь холмов и над ними ладонь, закрывающая солнце.

Печать канцлера.

– И ещё, капитан, – добавил Сенька, и голос у него дрогнул. – Гонец сказал... в Велиграде звонят. Во все колокола. Король умер.

Глава 5. Траур

Велиград стоял на семи холмах, и в день, когда умер король, на каждом холме звонили колокола.

Ярош услышал их ещё за десять вёрст, на Северном тракте, когда из-за леса показались первые дымы предместий. Звон шёл над полями тяжёлый, медленный, как будто сам воздух гудел от горя. На дороге стояли люди. Возчики придерживали коней, бабы с корзинами снимали платки, мужики стягивали шапки. Никто не говорил. Все слушали.

Король Всеслав правил двадцать два года. Ярош помнил его по монетам и по одному смотру в Школе Полудня, когда король проезжал вдоль строя курсантов на высоком сером коне – грузный, бородатый, с добрыми глазами и одышкой. Говорили, он был не самым умным королём, но самым мирным. При нём не было ни одной войны. Двадцать два года соседи держали клятвы, вассалы платили подати, а договоры, скреплённые Тенью Короны, стояли незыблемо, как семь холмов.

Теперь Тень Короны должна была перейти к наследнице. К княжне Ладе, семнадцати лет. Так было всегда: старый король умирает, и в полдень на третий день Тень сама сходит с его тела и ложится у ног наследника. Это называлось Передачей. Народ собирался на Соборной площади смотреть, как новый государь выходит на солнце и как у его ног разворачивается огромная, многоликая тень, в которой – все короли до него, все клятвы, все границы.

Ярош видел Передачу только на картинках. Ему было шесть лет, когда умер старый король Ратибор.

Или нет. Он не был уверен. Он помнил толпу, помнил высокое крыльцо собора, помнил, как отец поднял его на плечи, чтобы он мог увидеть. Но это могла быть и отцовская память. Отец тоже стоял в толпе – только тогда ему самому было шесть, и это его поднимал на плечи дед Мстивой. Ярош не знал, чьи это были плечи. Не знал, на каких сидел он сам.

Он ехал по Северному тракту, и колокола гудели, а он думал о том, что, кажется, начинает забывать собственное детство целыми годами.

Велиград встретил его чёрным. Чёрные полотнища свисали с балконов, чёрные ленты были повязаны на гривах коней городской стражи, у ворот стояли чёрные столбы с привязанными к ним пучками полыни – по древнему обычаю, чтобы душа короля не заблудилась. Трактиры были закрыты. Лавки закрыты. По улицам шли люди в тёмном, молча, и только звон плыл над крышами.

Здание Службы Полудня стояло на Белом холме – длинное, приземистое, с узкими окнами и белыми стенами, на которых в полдень не было ни одной тени: так хитро его построили древние зодчие, что солнце в зените заливало его со всех сторон. Ярош оставил Огонька на конюшне, поднялся по ступеням, отдал честь караульному и прошёл через внутренний двор, где обычно в это время упражнялись курсанты. Сегодня двор был пуст.

Его ждали. Секретарь у дверей воеводы, увидев его, вскочил и сказал:

– Капитан Вельский? Вас просят не к воеводе. Вас просят в Палату Печати. Немедля.

Палата Печати стояла на соседнем холме, Державном, рядом с королевским дворцом. Ярош бывал в ней дважды – оба раза, когда сдавал должников без залога. Он помнил, как его провели тогда по длинным коридорам, мимо множества закрытых дверей, в маленькую комнату, где пахло сургучом и пылью, и как тощий секретарь с жёлтыми ногтями расписался в получении.

На этот раз его провели выше.

Кабинет канцлера был просторный, с высокими окнами, выходившими на дворцовый сад. Окна были завешены чёрным. Горели свечи, много свечей, и от них в комнате было жарко и душно. Пахло воском и чем-то ещё – сладковатым, тяжёлым, как засохшие цветы.

Канцлер Остромир Гай сидел за столом и писал.

Ярош видел его раньше – издалека, на церемониях. Вблизи канцлер оказался старше, чем казался с площади: лет шестьдесят, высокий, сухой, с длинным узким лицом и аккуратной седой бородкой. Одет он был в чёрное, просто, без украшений, только на груди на цепи висела большая печать – семь холмов и ладонь над солнцем. Руки у него были красивые, с длинными пальцами, как у музыканта, и пальцы эти двигались по бумаге быстро и точно.

– Капитан Вельский, – сказал канцлер, не поднимая глаз. – Садитесь. Я сейчас.

Ярош сел. Канцлер дописал строку, посыпал песком, стряхнул, сложил лист и только тогда посмотрел на гостя.

Глаза у него были светлые, почти бесцветные, и очень внимательные. Ярош почувствовал этот взгляд, как чувствуют сквозняк. Канцлер смотрел не на лицо – на тень. На чужую тень, лежащую у ног Яроша на полу, в свете свечей.

– Вы носите тень отца, – сказал он. Не спросил. – Три года, если не ошибаюсь. Станимир Вельский, долг в четыреста гривен, заклад – обе тени, его и ваша. Вашу Палата приобрела в счёт погашения. Его – надели на вас, как на наследника, до выплаты остатка. Остаток – сто восемьдесят гривен.

– Сто семьдесят две, – сказал Ярош. – Я плачу из жалованья.

– Сто семьдесят две, – согласился канцлер с лёгкой улыбкой. – Простите. Вы честный человек, капитан. Мне о вас говорили. Это редкость.

Ярош промолчал. Он не любил, когда его хвалили люди, которые знали его долг точнее, чем он сам.

– Вы слышали о беде, – продолжал канцлер. – Король Всеслав скончался позавчера, в ночь на четверг. Тихо, во сне. Лекари говорят – сердце. Это большое горе для королевства. – Он помолчал. – Передача назначена на десятый день, а не на третий, как полагается. Из-за траура и из-за того, что вассалы должны успеть съехаться. Так решил Совет.

– Я слышал о трауре, – сказал Ярош осторожно. Про перенос Передачи он не слышал. Он не знал, что Передачу можно переносить.

– Хорошо. – Канцлер сложил пальцы домиком. – Теперь о деле. Вы были вчера на севере. В Ракитном и Сухом Броде.

– Да, ваша светлость.

– Мне доложили о пустене.

Ярош вздрогнул. Он не отправлял донесения. Он ещё даже не придумал, что в нём написать. А канцлер уже знал.

– Да, – сказал он. – Две деревни за одну ночь. Около пятидесяти человек с потерей памяти. Я записал...

– Не нужно. – Канцлер чуть поднял ладонь. – Этим займутся другие. У меня для вас иное поручение.

Он открыл ящик стола, достал оттуда лист плотной бумаги и положил перед Ярошем. Лист был пуст, только внизу стояла печать – та же, что на цепи у канцлера, – и подпись, тонкая, острая, как росчерк пера по стеклу.

– Это охранная грамота, – сказал канцлер. – С ней вы можете требовать помощи у любого гарнизона, любой заставы, любого воеводы в Орвени. Любые деньги из любой казны. Никто не вправе задавать вам вопросы. Отчитываетесь вы только мне.

Ярош смотрел на лист. Он слышал о таких грамотах. Их выдавали раз в поколение.

– Что я должен сделать? – спросил он.

– Найти человека.

– Кого?

Канцлер помолчал. Свечи потрескивали. За окном, за чёрным полотнищем, гудели колокола.

– Человека без тени, – сказал канцлер. – Не срезанной по закону. Не заложенной. Без тени вовсе – давно, годами. Такого, которого не видит теневая магия.

У Яроша остановилось сердце. Потом пошло снова, но медленно, тяжело, как колокол.

Он держал лицо. Его учили держать лицо – в Школе Полудня, на допросах, на взысканиях. Он смотрел на канцлера ровно, спокойно, и думал о том, что деревенская травница в зелёном платье и стоптанных башмаках сейчас идёт где-то по болотам, по лесным тропам, по дороге – одна, без защиты, невидимая для всех, кроме него.

– Зачем? – спросил он.

– Это не ваша забота, капитан.

– Простите, ваша светлость. Если я должен искать человека, мне нужно знать, кого я ищу. Мужчину или женщину. Старого или молодого. Откуда. Почему у него нет тени.

– Мужчину или женщину – не знаю. – Канцлер говорил медленно, будто взвешивая каждое слово. – Молодого, вероятно. Тень отделена в детстве. Откуда – не знаю. Но если в одной деревне был пустень, а в соседней – тоже, и пустень этот явился впервые за девяносто лет... Я не верю в совпадения, капитан. Пустени чуют таких людей. Тянутся к ним. Там, где пустень, – ищите пустое место.

Ярош молчал.

– Вы, кажется, хотите что-то сказать, – заметил канцлер.

Ярош подумал о двоих должниках, сданных в Палату. О жёлтых ногтях секретаря. О том, что канцлер узнал о пустене раньше, чем Ярош успел написать донесение. О том, что Передачу перенесли на десятый день, хотя её никогда не переносили.

И о девушке, которая легла животом на кочку и тянула его из трясины, упираясь босыми ногами, хотя могла уйти.

– Нет, ваша светлость, – сказал он. – Ничего.

– Хорошо. – Канцлер подвинул к нему грамоту. – Когда найдёте – не задерживайте сами. Не допрашивайте. Не пугайте. Просто сообщите мне, где он. И держите на виду. Остальное сделают другие.

– Что с ним будет?

Канцлер посмотрел на него долгим, бесцветным взглядом.

– Ему будет оказана честь, капитан. Служить королевству. Больше, чем служили когда-либо вы или я.

Ярош взял грамоту, сложил её и убрал за пазуху. Поклонился. Вышел.

В коридоре он остановился и прислонился к стене. Стена была холодная, каменная. Сердце колотилось, и он ждал, пока оно успокоится. Мимо проходили писцы, чиновники, кто-то кивал ему, кто-то нет. Пахло сургучом и пылью.

«Ему будет оказана честь».

Так говорили о жертвах в старых сказках. В тех, где девушку отдавали змею.

Он вышел на крыльцо Палаты. Колокола гудели. Солнце клонилось к закату, и тени на Державном холме вытянулись, легли поперёк площади длинными полосами. Тень Яроша – отцовская тень – протянулась до самого края лестницы, и Ярош смотрел, как она чуть запаздывает за ним, когда он поворачивает голову.

Отец, подумал он. Что бы ты сделал?

Тень не отвечала. Отец никогда не отвечал. Отец оставлял ему только чужие воспоминания – охоту на кабана, первую любовь к дочери мельника, сломанную руку, запах дедова табака, – и ни одного совета.

На нижней ступени его ждал Борута. Старый сержант догнал его, видно, уже в городе: конь его стоял у коновязи весь в пыли, сам Борута был серый от усталости, усы обвисли.

– Ну? – сказал он вместо приветствия. – Чего хотел?

– Не здесь, – сказал Ярош.

Они отошли к ограде дворцового сада. Там, под старыми липами, было тихо и тенисто. Ярош огляделся, убедился, что поблизости никого нет, и тихо рассказал. Про грамоту. Про человека без тени. Про честь служить королевству.

Борута слушал, пожёвывая ус. Когда Ярош закончил, он долго молчал.

– Я двадцать восемь лет в Службе, – сказал он наконец. – Про такие грамоты слыхал. Видел одну. При старом короле, при Ратиборе. Тогда тоже искали кое-кого.

– Нашли?

– Нашли. – Борута сплюнул. – Не спрашивай.

Они помолчали.

– Капитан, – сказал Борута. – А ты, часом, уже не нашёл?

Ярош посмотрел на него.

– Сенька рассказал, – Борута пожал плечами. – Что ты в Сухом Броде за кем-то бегал. Что он никого не видел, а ты видел. Что ты потом в болоте утопил кольчугу. Сенька парень простой, но не слепой. И я не слепой.

– Я никого не нашёл, – сказал Ярош.

Это была ложь. Первая ложь, которую он произнёс вслух за много лет. Она вышла неуклюжей, кривой, как гвоздь, забитый неумелой рукой. Борута посмотрел на него с жалостью.

– Плохо врёшь, – сказал он. – Учись. Пригодится.

«Ты что, совсем не умеешь врать? Ну так научись. Тебе пригодится».

Ярош невольно усмехнулся.

* * *

А в это время за сорок вёрст от Велиграда, на берегу Вильи, Мирена Ольх сидела у костра и сушила башмаки.

Она ушла из Сухого Брода в ту же ночь. Вернулась из болота задами, когда стемнело, проскользнула в бабкину избу, собрала узел: травы, нож, соль, сухари, кружку с медяшками. Подумала и взяла Сажу. Сажа не хотела, царапалась и шипела, но потом смирилась и сидела теперь в корзине, высунув морду, и смотрела на огонь жёлтыми недовольными глазами.

Деревню жалко. Избу жалко. Бабкины книги пришлось оставить: они были тяжёлые, а Мирена всё равно помнила в них каждую страницу. Ивашку жалко, и Параску, которая гладит его по голове и зовёт сиротой. Но оставаться было нельзя. Капитан вернётся. Может, не сам – пришлёт других. Других она не боялась: другие её не увидят. Но этот увидит. Этот её видел у колодца, видел в болоте, видел, когда смотрел прямо в лицо, – и единственный за тринадцать лет посмотрел ей под ноги.

К тому же пустень.

Мирена смотрела в огонь и думала о синем с жёлтым лоскутном одеяле.

Когда-то, давно, в самом начале той жизни без тени, старуха на барже сказала ей одну вещь. Мирена не помнила этого целиком – только обрывок, как обрывок колыбельной. Старуха держала её за подбородок сухими пальцами, дышала на неё донником и табаком и говорила:

«Если когда-нибудь твоя тень тебя найдёт – приходи ко мне. Не раньше. Слышишь? Не раньше. Нижняя пристань, баржа „Карась“. Спросишь Згоду».

Тогда Мирена не поняла. Как тень может найти человека? Тень – она же не собака.

Теперь, кажется, начинала понимать.

Она достала из узла кружку и пересчитала медяшки. Сорок семь. И два полуденника, зашитые в подол на чёрный день. Чёрный день, похоже, наступил. До Велиграда – полтора дня пешком по берегу, если не заблудиться и не попасться разбойникам. Разбойники её, правда, видели бы – они-то простые люди, без всякой магии.

– Ну что, Сажа, – сказала она. – Пойдём в столицу?

Сажа посмотрела на неё с глубоким презрением.

Ветер переменился и потянул с реки. Мирена подбросила в костёр сушняка, легла на плащ, подложив под голову узел, и стала смотреть на звёзды. Где-то далеко, за лесом, за полями, за рекой, гудело что-то низкое, протяжное. Она прислушалась. Колокола? Так далеко? Нет, не может быть.

Она уснула под этот гул, а когда проснулась на рассвете – костёр догорел, Сажа спала у неё под боком, а на мокром песке у самой воды, в трёх шагах от её ног, были следы.

Длинные, тонкие. Детские. Как будто кто-то маленький ходил ночью вокруг костра, кругами, кругами, – и не решался подойти.

От следов поднимался тонкий, погребной холод. Песок вокруг них был седым от инея.

Глава 6. Баржа «Карась»

Нижняя пристань Велиграда пахла рыбой, дёгтем и мокрой пенькой, и Мирена узнала этот запах раньше, чем увидела реку.

Она узнала его так, как узнают голос, который слышали в детстве: не головой, а животом. Ей было девять, когда она пришла сюда впервые, и тот приход остался в ней дырявым, как старая сеть, – но запах уцелел. Смола. Тина. Гнилые доски. Дым от коптилен, где вешали на крюки лещей и судаков. Мирена остановилась на верху спуска, у старой каменной лестницы, и стояла, пока у неё не перестали дрожать колени.

Внизу лежала Вилья – широкая, мутная, медленная. Здесь, под Велиградом, она разливалась на полверсты, и вдоль берега тянулись на сваях склады, лабазы, кабаки, лодочные сараи. У причалов теснились суда: плоскодонки, струги, тяжёлые баржи с зерном, лёгкие рыбачьи лодки. Над всем этим стоял гомон – грузчики, торговки, рыбаки, лодочники, – и даже траур, накрывший город чёрным, здесь почти не чувствовался. Только на мачтах висели чёрные лоскуты да колокола с холмов гудели глуше, заглушаемые плеском и бранью.

Мирена спустилась по лестнице. Корзина с Сажей оттягивала руку. Сажа за полтора дня пути сменила гнев на унылое смирение и только иногда, на кочках, издавала протяжный оскорблённый вой.

Баржу «Карась» она искала до полудня.

Никто не знал. Грузчики пожимали плечами. Торговки рыбой отмахивались. Мальчишка-лодочник сказал, что «Карасей» на Вилье три, и все три в Нижнем Устье, а не здесь. Старик, чинивший сеть у причала, долго жевал губами и наконец спросил:

– А тебе на что?

– Мне Згода нужна.

Старик поднял на неё выцветшие глаза. Посмотрел долго. Потом – вниз, ей под ноги. Солнце было уже высоко. Мирена не шевельнулась.

– Ага, – сказал старик. – Ну, тогда тебе к Гнилому затону. Иди вдоль берега, мимо коптилен, мимо смоляного двора. Там, где кончаются причалы и начинается ивняк, – стоит. Не ошибёшься. Её никто не трогает.

– Почему?

Старик усмехнулся беззубым ртом.

– Сама увидишь.

Гнилой затон оказался узкой протокой, заросшей ряской и ивами, за последними складами Нижней пристани. Здесь было тихо. Гомон остался позади, и только лягушки квакали в осоке да где-то наверху гудели колокола. Тропинка вела вдоль воды мимо полузатопленных лодок, мимо остова старого струга, торчащего из воды рёбрами, как скелет кита, – и выводила к барже.

Баржа была старая. Очень старая – чёрная от времени и смолы, просевшая, с облупленной надстройкой и кривой трубой, из которой поднимался дымок. Она стояла у берега на двух причальных канатах, обросших зелёной бородой водорослей, и казалась такой же неотъемлемой частью затона, как ивы. На носу кто-то когда-то вырезал рыбью голову с выпученными глазами. Краска на ней облезла, но глаза остались – круглые, удивлённые.

Карась.

Мирена стояла на тропе и смотрела.

Она помнила эту баржу. Помнила дощатые сходни – вот эти, с поперечными планками, на которых у неё в девять лет подкашивались ноги. Помнила дверь в надстройку – низкую, с медной ручкой в виде кольца. Помнила, что внутри пахло донником. Больше ничего. Остальное было за той самой вырванной страницей.

На крыше надстройки сидела галка и смотрела на неё одним глазом.

– Ну? – каркнула галка. – Ну? Ну?

Мирена вздрогнула. Галка склонила голову набок.

– Ну? – повторила она с явным нетерпением.

– Чича, не ори, – донёсся изнутри баржи голос, хриплый, низкий, как скрип несмазанной двери. – Кого там принесло?

– Меня, – сказала Мирена. И, подумав, добавила: – Вы мне когда-то велели прийти.

Внутри что-то стукнуло. Потом зашаркали шаги. Дверь надстройки открылась, и на палубу вышла старуха.

Мирена помнила её высокой. Она оказалась высокой и теперь – выше Мирены на голову, хоть и сгорбленная, – но страшно худой, как сухое дерево. Волосы у неё были белые, длинные, заплетённые в несколько тонких кос, перевитых какими-то бусинами и шнурками. Лицо тёмное, изрезанное морщинами так густо, что казалось вырезанным из коры. В зубах – длинная глиняная трубка. А глаза – белые, без зрачков, мутные, как молоко в воде.

Згода смотрела мимо Мирены, на ивы. Потом пыхнула трубкой, и над палубой поплыл сладковатый запах донника.

– Голос, – сказала она. – Скажи ещё что-нибудь.

– Что сказать?

– Что хочешь. Считай до десяти.

Мирена сосчитала. Старуха слушала, наклонив голову – совсем как галка на крыше, – и на счёт «семь» вдруг вынула трубку изо рта.

– Ольх, – сказала она. – Сухой Брод. Девять лет. Брат больной. Три полуденника.

У Мирены пересохло во рту.

– Да, – сказала она.

– Тринадцать лет прошло, – сказала Згода. – Голос стал ниже. А считаешь всё так же. Будто медяшки в горсти перебираешь. Ты тогда тоже считала, пока я тебе тень резала. До ста досчитала. Я ещё подумала – упрямая девка. Хороший товар. – Она снова сунула трубку в рот. – Брат-то выжил?

– Нет.

– Ну, я так и думала. – Старуха пожевала мундштук. – Хмара – лекарь хороший, но сухотную лихорадку и он не берёт. Я тебе это тогда говорила. Ты не слушала.

– Вы говорили?

– Говорила. Ты не помнишь, конечно. Это всё ушло с тенью. – Згода повернулась к двери. – Ну, заходи, раз пришла. Кошку не выпускай, Чича кошек не любит.

Внутри баржи было тесно, темно и тепло. Маленькая железная печка в углу, на ней котелок. Лавки вдоль стен, покрытые старыми шкурами. Полки, полки, полки – до самого потолка, и на них склянки, коробки, свёртки, связки сушёных трав, пучки перьев, какие-то кости, медные чашки, кривые ножи. На крюках под потолком висели клетки – пустые, птичьи, с распахнутыми дверцами. В дальнем углу стоял сундук, обитый железом, с тремя замками.

Згода опустилась на лавку у печки и указала трубкой на другую, напротив.

– Садись. Рассказывай. Только не ври – я слепая, но не глухая. Враньё слышу лучше, чем ты видишь.

Мирена села. Поставила корзину с Сажей на пол. Сажа высунула голову, огляделась, увидела клетки, шкуры, кости – и, кажется, впервые за два дня одобрила происходящее.

Мирена рассказала. Про Гордея и белые плащи. Про пустеня – как он шёл по жнивью, как обходил её по дуге, как наклонял голову. Про двадцать два человека, не помнящих имён. Про капитана, который её увидел. Про трясину. Про следы у костра.

Про синее с жёлтым одеяло она не сказала. Сама не знала почему.

Згода слушала, не перебивая, и только трубка у неё в зубах то разгоралась, то гасла. Когда Мирена замолчала, старуха долго сидела неподвижно. Потом сказала:

– Капитан, который тебя видит. С чужой тенью.

– Да.

– Как зовут?

– Ярош Вельский.

– Вельский. – Згода усмехнулась. – Станимиров сын. Старик ко мне тоже приходил, когда прижало. Я его отправила к Бережате – я тогда уже не брала. Значит, на сыне отцовская. Это он тебя потому и видит: две тени, своя да чужая, в одном теле не помещаются, и между ними щель. А в щель видно то, чего прямым глазом не видно. – Она пыхнула дымом. – Повезло тебе, девка. Или не повезло. Ещё не знаю.

– Вы знаете, что это было? – спросила Мирена. – Пустень. Почему он меня не тронул?

– Знаю, – сказала Згода.

– Скажите.

– Нет.

Мирена моргнула.

– Как – нет?

– Так – нет. – Старуха выбила трубку о край печки. – Правда, девка, это товар. Как тень. Как травы. Как всё. Ты знаешь, сколько стоит правда?

– Сколько?

– Дорого. – Згода начала набивать трубку заново, из кожаного кисета, на ощупь, не глядя. Пальцы у неё были длинные, узловатые, с жёлтыми от табака ногтями, и двигались ловко, как у молодой. – Я тебе тогда, тринадцать лет назад, дала три полуденника за тень. Честная цена. Даже щедрая – детскую тень редко берут дороже двух. Ты получила своё, я – своё. Мы в расчёте. А теперь ты приходишь и хочешь, чтобы я тебе ещё и правду дала. Задаром?

– У меня есть деньги, – сказала Мирена. – Сорок семь медяшек. И два полуденника.

Згода засмеялась. Смех у неё был сухой и короткий, как кашель.

– Медяшки свои оставь. Мне медяшки не нужны.

– Что вам нужно?

Старуха раскурила трубку, затянулась. Выпустила дым. Он поплыл к потолку, к пустым клеткам, и Мирене показалось, что в его клубах что-то мелькнуло – чьё-то лицо, чья-то рука. Показалось.

– Тень, – сказала Згода. – Одна тень. Украденная.

– Чья?

– Узнаешь, когда придёт время.

– Где она?

– Там, куда ты одна и можешь пройти. – Белые глаза старухи смотрели мимо Мирены, в стену, но Мирене казалось, что смотрят прямо в неё. – Её держат за такими замками, которые сделаны против теней и против тех, у кого тени есть. Колдовские замки. Ни один вор в Орвени их не откроет. Ни один теневой мастер. Никто, кроме человека, которого магия не видит. Понимаешь, к чему я?

Мирена понимала.

– Вы хотите, чтобы я украла для вас тень.

– Не украла. Вернула. Её уже украли. Давно. – Голос старухи на мгновение стал другим – глуше, тише, – и тут же снова заскрипел по-прежнему. – Принесёшь мне её – скажу тебе всё. Про пустеня. Про то, почему он тебя узнаёт. Про то, кто его водит по деревням. И про то, куда делась твоя тень после того, как я её продала.

Мирена выпрямилась.

– Вы её продали?

– А ты думала, я её на полку поставила? – Згода фыркнула. – Я ростовщица, девка. Была. Я тени покупаю, чтобы продавать. Твою продала через месяц. Хорошо продала. Не спрашивай кому.

– Кому?

– Я же сказала – не спрашивай.

– Скажите хоть, жива ли она. Цела ли.

Згода молчала. Трубка у неё в зубах погасла, а она этого не заметила.

– Тень нельзя убить, – сказала она наконец. – Это первое, что знает всякий, кто с тенями дело имеет. Её можно только отделить. Отделённая тень живёт, пока живёт хозяин. А ты жива.

– Значит, она где-то есть?

– Где-то есть.

Мирена смотрела на неё. На тёмное лицо, изрезанное морщинами. На белые глаза. На руки, которые тринадцать лет назад держали серебряные ножницы над тенью девятилетней девочки.

– Вы сказали мне тогда, – проговорила Мирена медленно. – «Если твоя тень тебя найдёт – приходи». Вы знали? Уже тогда?

Старуха пожала плечами.

– Я много чего знаю. Много чего говорю. Ты пришла. Значит, нашла.

– Это пустень? – выдохнула Мирена. – Пустень – это...

– Цена, – перебила Згода. – Сначала цена. Потом правда. Таков мой закон, и я его тридцать лет не нарушаю. Не нарушу и для тебя. – Она поднялась с лавки, тяжело, опираясь на стену. – Хочешь – иди. Хочешь – оставайся. На барже места хватит, кошку твою прокормим. Подумай. Торопиться тебе некуда.

– Почему некуда?

Згода остановилась у двери. Повернула к Мирене слепое лицо.

– Потому что твоя тень тебя нашла, – сказала она. – А раз нашла – теперь не отстанет. Куда ты, туда и она. Беги хоть на край света. А за ней, девка, идут и другие. Те, кто её водит.

Она вышла на палубу. Мирена слышала, как она шаркает к носу баржи и как галка Чича сварливо каркает ей что-то с крыши.

Мирена сидела одна в тёплой темноте, среди склянок, костей и пустых клеток. Сажа выбралась из корзины и пошла обнюхивать углы. Колокола на холмах гудели. Над печкой качался котелок.

Тень, украденная, за колдовскими замками. Там, куда может пройти только она.

Она думала, что знает, где в Велиграде такие замки. Слышала с детства. Все слышали. Под Палатой Печати, на Державном холме, лежало Теневое хранилище, куда свозили тени со всего королевства. Говорили, что там тысячи сосудов. Говорили, что туда не войти ни вору, ни колдуну. Говорили, что стражи там не нужно, потому что хранилище сторожит само себя.

– Хороша плата, – пробормотала Мирена.

– Ну? – каркнула галка с палубы. – Ну?

Мирена встала. Подошла к маленькому окошку в надстройке, выходившему на затон. Вода была тёмная, в ряске. Ивы клонились к ней, и в листве шумел ветер.

А на том берегу затона, под ивами, в густой тени, стоял человек и смотрел на баржу.

Мирена узнала его сразу. По росту. По прямым плечам. По тому, как он стоял – неподвижно, терпеливо, как стоят только те, кого учили ждать. Он был без белого плаща, в простой тёмной куртке, и лицо его было в тени.

Но тень у его ног повернула голову на удар сердца позже, чем он сам.

Глава 7. Сделка

Он не прятался. Это Мирена поняла, пока стояла у окошка и смотрела, как он стоит под ивами. Если бы хотел спрятаться – спрятался бы: тени там было достаточно. А он стоял на виду, прямо напротив баржи, сунув руки в карманы куртки, и ждал, пока его заметят.

– Згода, – позвала Мирена, не отрываясь от окна. – На том берегу человек.

– Знаю, – отозвалась старуха с палубы. – Уже с полчаса стоит. Чича его давно приметила.

– Это он. Капитан.

– Знаю, – повторила Згода. – От него отцовской тенью пахнет. Станимир табак курил вишнёвый, и тень этот табак помнит. – Шарканье, скрип досок, и старуха заглянула в дверь. – Ну, что делать будешь? Бежать? Через ивняк есть тропа к смоляному двору. Он не догонит, если не знает.

Мирена молчала. Бежать было разумно. Бежать было правильно. Она прибежала сюда за правдой, правду ей не продали, а тот, кто может отвезти её в Палату Печати, стоит в тридцати саженях. Любая разумная девушка с сорока семью медяшками в кружке взяла бы кошку и ушла через ивняк.

Только капитан стоял и ждал. Не шёл к сходням. Не звал своих. Не доставал грамоту.

– Он один? – спросила она.

– Один, – сказала Згода. – Я бы услышала.

– Тогда позовите его.

Старуха хмыкнула, будто ждала именно этого, и, повернувшись к затону, гаркнула так, что Чича слетела с крыши:

– Эй, Вельский! Чего торчишь, как пень на вырубке? Иди уж, раз пришёл. Только по сходням иди, а не по воде. Тут глубоко.

Человек под ивами вынул руки из карманов и пошёл в обход затона, по тропе.

Мирена села на лавку и сложила руки на коленях, чтобы не было видно, как дрожат пальцы.

Он вошёл, пригнувшись под низкой притолокой, и сразу стало тесно. Он был высокий, а баржа маленькая, и ему пришлось стоять, склонив голову, чтобы не задевать клетки под потолком. Без белого плаща и шлема он выглядел моложе. Простая тёмная куртка, на поясе нож – не меч, просто нож. Сапоги новые: старые, видно, остались в болоте вместе с кольчугой. Лицо осунулось ещё сильнее, чем в Сухом Броде, щетина стала почти бородой. Под глазами лежали тени – свои, человеческие.

Он посмотрел на Мирену. На этот раз сразу, не соскальзывая, – будто привык.

– Здравствуй, – сказал он.

– Ты как меня нашёл? – спросила Мирена вместо приветствия.

– По инею. – Он снял с пояса нож вместе с ножнами и положил на полку у двери. Медленно, чтобы она видела. – Пустень оставляет иней там, где идёт. В Сухом Броде, после того как ты ушла, я нашёл след от болота к реке. Свежий. А потом – вдоль реки, на юг. На каждой стоянке по берегу. Он шёл за тобой.

У Мирены похолодели руки.

– А дальше – просто, – продолжал капитан. – Девушка с кошкой в корзине, которая спрашивает Згоду. Тебя на пристани запомнили. Старик, который сети чинит.

– Предатель, – пробормотала Мирена.

– Он не предатель. Он сказал, что ты ушла к Гнилому затону и что если я пойду за тобой с полуденниками, он мне лодку продырявит. – Капитан чуть улыбнулся. – Я пообещал, что приду один.

– И пришёл один.

– Я всегда делаю то, что обещаю.

– Знаю, – сказала Мирена. – Это-то и плохо.

Згода, устроившаяся у печки, засмеялась своим кашляющим смехом.

– Садись, Станимиров сын, – сказала она. – Только на шкуры не садись, они старые, рассыплются. На сундук садись. На тот, что с замками, – его не сломаешь.

Капитан сел на сундук. Колени его почти упирались в колени Мирены. От него пахло лошадьми, дорогой и дымом. И ещё, едва уловимо, вишнёвым табаком – хотя Мирена готова была поклясться, что сам он не курит.

– Я Ярош, – сказал он. – Ты знаешь. А тебя как зовут?

Мирена молчала.

– Её зовут Мирена, – сказала Згода. – Мирена Ольх, из Сухого Брода. Ну что ты зыркаешь на меня, девка? Он всё равно бы узнал. В деревне бы спросил. Пусть лучше от меня.

– Мирена, – повторил Ярош. Он сказал это странно – тихо, будто пробовал имя на вес. – Хорошо.

– Чего хорошего?

– Хорошо, когда у человека есть имя.

Она хотела ответить колкостью – колкость уже вертелась на языке, – но он опередил её.

– Я должен тебе кое-что сказать, – произнёс он. – Сразу. Чтобы ты знала, с кем говоришь, и решила сама.

И рассказал.

Он рассказывал коротко и сухо, как читают донесение. Палата Печати. Канцлер Остромир Гай. Охранная грамота – тут он даже достал её из-за пазухи и показал: плотный лист, пустой, с печатью внизу. Приказ: найти человека без тени. Не задерживать, не пугать, сообщить, держать на виду. «Ему будет оказана честь служить королевству».

Мирена слушала и чувствовала, как внутри у неё всё каменеет.

Згода у печки перестала курить. Она сидела совершенно неподвижно, только пальцы на мундштуке трубки побелели. Когда Ярош произнёс имя канцлера, старуха вздрогнула – едва заметно, но Мирена увидела.

– Зачем ты мне это говоришь? – спросила Мирена, когда он замолчал.

– Потому что я не знаю, зачем ты ему нужна, – сказал Ярош. – А пока не знаю – не отдам.

– Это против закона.

– Нет. – Он покачал головой. – Закон велит задержать должника без залога и доставить в Палату. Приказ канцлера велит найти и сообщить. Это разные вещи. Пока я не сообщил – я выполняю приказ. Пока ищу.

Мирена уставилась на него.

– Ты что, – сказала она медленно, – только что соврал? Своему канцлеру? Через закон перелез, как через плетень?

– Я не соврал, – сказал Ярош с достоинством. – Я истолковал.

Згода фыркнула. Мирена прикусила губу, чтобы не засмеяться, – было не время смеяться, совсем не время, но лицо у капитана было такое серьёзное, такое честное, что смех лез из неё сам.

– Ладно, – сказала она. – Истолковал. И что дальше?

– Дальше – сделка. – Ярош положил грамоту на колено. – Мне нужно понять, что происходит с пустенями. Почему он появился впервые за девяносто лет. Почему ходит по деревням. Почему канцлер узнал о нём раньше, чем я отправил донесение. И зачем канцлеру человек без тени. Одному мне этого не понять. Ты видишь пустеня, а я – нет. Ты ходишь там, где любой теневой мастер ослепнет. И он тебя не трогает.

– А мне что?

– Я не сдам тебя канцлеру. Пока не узнаю, зачем ты ему. Если окажется, что для доброго дела, – тогда поговорим. Если для худого – не сдам вовсе.

– А если ты сам решишь, что худое – это доброе? – спросила Мирена. – Вы, в Службе, это умеете. Вырезать у кузнеца память и говорить, что это закон.

Ярош помолчал.

– Это закон, – сказал он наконец. – Он подписал заклад. Он знал, на что идёт.

– Он знал, что заберут тень. Он не знал, что забудет, как греть горн.

– Все знают.

– Никто не знает, – сказала Мирена резко. – Пока не случится. Знать и знать – это разное, капитан.

Он опустил глаза. На свою тень, лежащую на дощатом полу баржи в тусклом свете из окошка. Тень повторила движение – на удар сердца позже.

– Да, – сказал он тихо. – Это разное.

Наступило молчание. Сажа вылезла из-за сундука, обнюхала сапоги капитана, подумала и потёрлась о его ногу. Мирена смотрела на неё с изумлением и обидой. Предательница. Хуже старика с сетями.

– Он хороший, – сказала Згода неожиданно. – Честный дурак. Таких мало. Бери, девка. Лучше не будет.

– А вы? – Мирена повернулась к ней. – Вы же слышали. Канцлер. Вы знаете его, да? Вы вздрогнули, когда он сказал.

Згода снова принялась набивать трубку. Руки у неё дрожали, табак сыпался на колени.

– Все знают канцлера, – сказала она. – Его на монетах скоро чеканить будут вместо короля.

– Вы ему продали мою тень?

– Цена, девка. Сначала цена.

– Згода!

– Сначала цена! – рявкнула старуха так, что Чича на палубе испуганно каркнула. И добавила тише, глуше: – Я тебе сказала, какая. Принеси, что прошу. Тогда скажу всё. Раньше – не могу. Не спрашивай почему. Не могу.

Последние слова прозвучали так, что Мирена замолчала. Это было не «не хочу». Это было «не могу», как говорит человек со связанными руками.

Ярош переводил взгляд с одной на другую.

– Что она просит? – спросил он у Мирены.

– Тень. Украденную. Из-за колдовских замков.

– Из хранилища, – сказал Ярош сразу. Не спрашивая.

– Не знаю. Она не говорит.

– Из хранилища, – повторила Згода. – Не дура девка, сама догадалась. Только сейчас туда не надо. Сейчас её там поймают – не магией, так руками. Подождите. Сейчас другое.

– Что другое?

Старуха подняла голову, будто прислушиваясь. Колокола на холмах всё гудели – уже третий день, без перерыва, сменяя звонарей.

– Пустень, – сказала она. – Он ведь не один ходит. Вы думаете, он сам по себе по деревням бродит? Пустень бродит, где голодно. А голодно ему там, куда его тянут. Узнайте, куда тянут, – узнаете, кто тянет. Вот вам и первая правда. Бесплатно. Больше не дам.

Ярош и Мирена переглянулись.

– Сухой Брод и Ракитное, – сказал Ярош медленно. – Почему они? Две деревни из сотни. Ничем не примечательные.

– В Сухом Броде есть я, – сказала Мирена.

– В Ракитном тебя нет.

– Значит, не только я.

– Значит, не только ты, – согласился он. – Надо посмотреть, у кого он брал. В обеих деревнях. Что у них общего.

– В Сухом Броде он брал у всех взрослых, – сказала Мирена. – Почти у всех. Кроме Гордея – у того нечего было брать. Детей не трогал.

– В Ракитном тоже детей не трогал, – кивнул Ярош. – Борута записал. Но у некоторых взрослых тоже не брал. У троих или четверых. Я не успел спросить, почему.

Они замолчали, глядя друг на друга. Мирена вдруг поняла, что они говорят как... как кто? Как двое лекарей над одним больным. Как двое охотников над одним следом. Это было странно. Это было неправильно. Он – капитан Службы Полудня, который вырезает тени у кузнецов. Она – должница без залога, которую он обязан доставить в Палату.

И всё-таки они говорили так, будто давно привыкли думать вместе.

– Значит, сделка, – сказала Мирена.

– Сделка, – сказал Ярош.

– Я помогаю тебе с пустенями. Ты не сдаёшь меня канцлеру.

– Пока не узнаю, зачем ты ему.

– Пока не узнаешь, – согласилась она. – И ещё одно. Если ты меня обманешь, капитан, я тебя утоплю. В той же трясине. И вытаскивать не стану.

– Справедливо, – сказал Ярош и протянул ей руку.

Мирена посмотрела на его ладонь. Широкая, с мозолями от поводьев и рукояти меча. С порезом поперёк – свежим, едва затянувшимся. От осоки, вспомнила она. Когда он тонул и хватался за осоку.

Она пожала его руку. Ладонь была тёплая и сухая.

В тот же миг снаружи загрохотало – кто-то бежал по тропе вдоль затона, тяжело, громко, топая сапогами по сырой земле. Чича на крыше заорала: «Ну! Ну! Ну!» Ярош вскочил, ударился головой о клетку, выругался и схватил с полки нож.

– Капитан! – крикнули снаружи. – Капитан Вельский! Вы здесь?

– Борута, – выдохнул Ярош и опустил нож. – Мой сержант. Я сказал ему, где буду. Только ему.

Он вышел на палубу. Мирена – за ним, держась в тени надстройки. На тропе стоял немолодой усатый полуденник без плаща, красный и запыхавшийся, и держался за бок.

– Капитан, – выдохнул он. – Беда. Гонец с верховьев. Ольшанка. Двадцать вёрст отсюда, вверх по Вилье. Нынче ночью.

– Пустень?

– Он, – кивнул Борута. – Полсела без памяти. А ещё... – Он покосился на Мирену, точнее, на то место, где она стояла, явно не видя её, и понизил голос. – Ещё гонец говорит: двое пропали. Двое мужиков. Не забыли – пропали. Ушли ночью из изб, как во сне, и пошли за ним в лес. И не вернулись.

Глава 8. Ольшанка

Ольшанка стояла на высоком берегу Вильи, там, где река делала петлю, и с дороги была видна издалека: белая звонница с одним медным колоколом под шатром, два десятка дворов, сады, мостки к воде. Хорошее село, зажиточное. Сады здесь были яблоневые, и в конце лета, когда яблоки наливались, по всему берегу стоял сладкий дух, и баржи, проходя мимо, сбавляли ход, чтобы лодочники могли набрать с ветвей, свисавших над водой.

Сейчас яблоки падали в траву, и никто их не подбирал.

Они добрались к полудню следующего дня. Ярош – верхом на Огоньке, Борута – на своём гнедом мерине, Сенька Хмель – на лохматой лошадке, которую ему выдали на конюшне Службы из жалости. Мирена ехала за спиной у Яроша, потому что лошади у неё не было, а идти пешком двадцать вёрст она отказалась наотрез. Сажу оставили на барже. Згода сказала, что присмотрит, и Сажа, к оскорблению Мирены, даже не оглянулась.

Ехать за спиной у капитана Службы Полудня было неловко. Приходилось держаться за его пояс, и каждый раз, когда Огонёк переходил на рысь, Мирена прижималась к его спине и чувствовала под курткой твёрдые мышцы, тёплые, живые. Она злилась на себя за то, что чувствует. Злилась на него за то, что он такой тёплый. Злилась на Огонька, который рысил, хотя мог бы идти шагом.

Борута её не видел. Сенька тоже. Для них капитан ехал один, только почему-то держал поводья странно, как будто кто-то сидел у него за спиной. Сенька всю дорогу косился на пустое место за седлом и наконец не выдержал:

– Капитан, а там... там кто-то есть?

– Есть, – сказал Ярош.

– А кто?

– Человек.

– А почему я не вижу?

– Потому что у тебя хорошая тень, Сенька. Я тебе уже говорил.

Сенька обиженно замолчал. Мирена за спиной Яроша беззвучно смеялась в его куртку.

– Не смейся, – сказал Ярош, не оборачиваясь. – Он хороший парень.

– Я не над ним, – шепнула Мирена. – Я над тобой. «Потому что у тебя хорошая тень». Ты всем так объясняешь?

– Только ему. Борута сам догадался.

Борута, ехавший рядом, хмыкнул в усы и сказал в пустоту, туда, где, по его разумению, могла бы сидеть Мирена:

– Ты, девка, если там, держись крепче. Огонёк на спуске козлит.

Огонёк на спуске действительно козлил, и Мирена вцепилась в капитанский пояс обеими руками. А Борута, который не мог её видеть, но мог, видно, слышать, как она ахнула, довольно ухмыльнулся.

В селе их встретил староста – молодой, растерянный, с лицом, на котором было написано, что он стал старостой три дня назад и до сих пор не понял, как это вышло. Старый староста, объяснил он, не помнит, что он староста. Помнит только, как пасти коров. Теперь пасёт.

– Кто пропал? – спросил Ярош.

– Мирон Кривой и Онисим Бондарь. – Староста мял в руках шапку. – Ушли ночью. Жёны видели – встали, как во сне, вышли за дверь, босые, в одних рубахах. Онисимова баба за ним бежала, кричала. Он не оборачивался. Шёл к лесу. А в лесу, говорит, темно было, как в погребе, и холодно. И что-то впереди шло, что-то высокое. Она испугалась и вернулась. А утром Онисима нету. И Мирона нету.

– Искали?

– Искали. – Староста потупился. – Мужики до опушки дошли, дальше не пошли. Боятся. Там, говорят, иней на траве. Летом – иней.

– Покажи, где.

Опушка была в полуверсте от села, за выгоном. Лес здесь начинался резко, стеной – старые ели, тёмные, лохматые, с бородами лишайника. И у самой опушки, на траве выгона, лежала седая полоса. Иней. Он уже почти растаял, прошло больше суток, но трава в этом месте была мёртвая, бурая, будто прихваченная морозом. Полоса уходила в лес.

Мирена спрыгнула с коня и пошла по ней.

– Стой, – Ярош соскочил следом. – Подожди. Мы не знаем, что там.

– Я знаю, – сказала Мирена. – Там пустень. Он меня не тронет.

– А меня?

Она обернулась. Он стоял на краю мёртвой полосы, и лицо у него было серьёзное, без тени страха – только упрямство.

– Тебя тронет, – сказала она. – У тебя в тени память двух поколений. Твоя и отцовская. Для него ты – как пирог с двойной начинкой.

– Тогда пойду сзади.

– Тогда не ходи вовсе.

– Я пойду, – сказал Ярош. – Это моя служба.

Мирена закатила глаза.

– Солнце ясное, – сказала она. – Ты это на могильном камне себе высеки. «Это была его служба». Ладно. Иди. Только держись за мной и не умничай.

Борута и Сенька остались на опушке с лошадьми. Борута хотел идти, но Ярош запретил. «Если не вернёмся к закату – скачи в Велиград, к воеводе Кречету, – сказал он. – Только не к канцлеру. К Кречету». Борута посмотрел на него долгим взглядом, но спорить не стал.

Лес был тихий. Не так, как бывает тихо в лесу днём, когда птицы умолкают в жару, – а мёртво. Ни дятла, ни сойки, ни шороха в кустах. Ели стояли неподвижно. Мох под ногами был бурый, сухой, ломкий, как старая бумага. И полоса инея вела вглубь, петляя между стволами, – уже не иней, а только его след: седые пятна на мху, побуревшие листья черники, мёртвые муравьи у тропинки.

Мирена шла впереди. Ярош – в трёх шагах за ней. Она слышала его дыхание, ровное, спокойное, и это почему-то помогало.

– Ты правда его не боишься? – спросил он вполголоса.

– Боюсь, – сказала она. – Только он меня не трогает. Это разное.

– Почему не трогает?

– Не знаю. – Она переступила через корень. – Згода знает, но не говорит. Ты же слышал.

– Слышал. – Он помолчал. – Она сказала: «Если твоя тень тебя найдёт».

Мирена не ответила. Она шла, глядя под ноги, и думала о синем с жёлтым одеяле.

Через полверсты они нашли первого.

Мирон Кривой сидел под старой елью, прислонившись спиной к стволу. Сидел аккуратно, ровно, сложив руки на коленях, как сидят старики на завалинке. Глаза открыты. Рубаха мокрая от росы. Босые ноги в царапинах.

Он был жив. Мирена поняла это, когда подошла: грудь поднималась и опускалась. Она присела перед ним, взяла за запястье – пульс был, слабый, редкий, – и посмотрела в лицо.

В лице ничего не было. Совсем. Как в окне пустого дома.

– Мирон, – позвала она. – Мирон, ты меня слышишь?

Мирон смотрел сквозь неё на лес.

– Он не слышит, – сказал Ярош тихо. Он стоял над ними, и тень его – отцовская – легла на сидящего, но тот даже не моргнул. – У него не осталось ничего. Ни имени, ни памяти рода. Пустень выел всё.

– Не всё, – сказала Мирена. – Он дышит. Сердце бьётся. Он ходил сюда сам, ногами. Тело помнит, как ходить.

– Тело – это не человек.

Мирена подняла на него глаза.

– А что тогда человек? – спросила она, и голос у неё вдруг сорвался. – Тень? Память рода? Если у человека нет тени, он что, уже и не человек? Он – вот это? – Она махнула рукой на Мирона.

Ярош смотрел на неё. Долго. Потом опустился на корточки рядом – так, чтобы их лица были на одном уровне.

– Ты – не это, – сказал он. – Ты – совсем не это. Я не о тебе.

– А о ком?

– О нём. У него отняли всё сразу. За одну ночь. Не только тень – всё, что было в нём своего. А ты... – Он запнулся, подбирая слово. – Ты жила без тени тринадцать лет. И всё, что в тебе есть, – ты сама. Сама собрала. Это другое.

Мирена отвернулась. Глаза жгло, и она не хотела, чтобы он видел.

– Пойдём, – сказала она глухо. – Второй где-то рядом.

Онисима Бондаря они нашли ещё через сотню шагов, у ручья. Он лежал лицом в воде. Ручей был мелкий – по щиколотку, – но Онисим лёг в него ничком и не поднялся. Утонул в воде, которой хватило бы курице напиться.

Ярош вытащил его на берег, перевернул. Посмотрел. Закрыл ему глаза.

– Он забыл, как дышать, – сказала Мирена. Она сама не знала, откуда это взяла, но знала, что так и есть. – Упал, а встать не смог. Забыл.

Они стояли над мёртвым и молчали. Ручей журчал. Где-то в глубине леса наконец подала голос птица – тонко, неуверенно, будто проверяя, можно ли.

– Мирена, – позвал Ярош.

Она подняла голову. Он смотрел не на мёртвого, а дальше, за ручей, на небольшую поляну между елями.

Посреди поляны торчал кол.

Обычный кол, ольховый, в руку толщиной, вбитый в землю. Высотой по пояс. Свежий – кора не успела потемнеть, на срезе ещё белела древесина. А вокруг кола, от самой земли до верхушки, тугими витками была намотана нить.

Чёрная нить. Не крашеная – чёрная сама по себе, как чернила, как сажа, как провал в ночи. Она не блестела. Она поглощала свет. И когда Мирена, перейдя ручей, подошла ближе, она увидела, что нить шевелится. Едва-едва. Витки чуть заметно дрожали, будто дышали.

– Не трогай, – сказал Ярош резко.

– Почему?

– Это теневая нить. – Голос у него был странный, напряжённый. – Сучёная из тени. Её прядут мастера в Палате Печати, ею сшивают порванные тени, когда возвращают заклад. Я видел. Её нельзя трогать голыми руками тем, у кого есть тень. Она прирастает.

– У меня нет тени, – напомнила Мирена.

И взяла нить в руки.

Ничего не случилось. Нить лежала у неё на ладони, холодная, лёгкая, как паутина. Не прирастала. Не шевелилась. Будто её и не было. Мирена потянула за конец – и нить потянулась за пальцами, разматываясь с кола, длинная, бесконечная.

Нет. Не бесконечная. Она уходила в землю у основания кола, а оттуда – дальше. Мирена видела, как от кола в траве тянется тонкая, едва заметная чёрная линия, будто трещина. Она шла через поляну, между елями, на юг.

– Куда она ведёт? – спросила Мирена.

Ярош подошёл. Посмотрел на линию в траве. Потом поднял голову и посмотрел туда, куда она тянулась, сквозь ели, сквозь лес, сквозь двадцать вёрст полей и перелесков.

– На юг, – сказал он. – В Велиград.

Они вернулись на опушку к закату, неся Онисима на жердях, срубленных Ярошем, и ведя под руки Мирона, который шёл послушно, переставляя ноги, как кукла. Борута и Сенька кинулись навстречу. Мужики из села, всё это время топтавшиеся на выгоне, не решаясь войти в лес, подхватили носилки. Онисимова баба завыла.

Ночевать остались в Ольшанке. Молодой староста отвёл им пустую избу на краю села – хозяева, сказал он, ушли к родне за реку, как только началось. Мирена сидела на лавке у окна и смотрела, как над рекой поднимается луна. Ярош сидел напротив, за столом, с пером и бумагой, и что-то писал. Борута спал на печи, похрапывая. Сенька караулил у двери.

– Что пишешь? – спросила Мирена.

– Список. – Ярош не поднял глаз. – Кого пустень тронул в Ольшанке. Кого не тронул. Староста дал.

– И что?

– Подожди.

Он писал ещё долго. Потом отложил перо, потёр глаза и посмотрел на неё.

– Помнишь, ты сказала: в Сухом Броде он брал почти у всех взрослых?

– Да.

– Почему почти?

Мирена задумалась.

– У Гордея нечего было брать. У бабки Ефросиньи... нет, у неё взял. У Параски взял. – Она вдруг остановилась. – У дурачка Агея не взял. Он жил на выселках, у мельничной плотины. Я наутро к нему заходила – он помнил всё. Ну, всё, что дурачок может помнить. И у Фроловой тёщи не взял, она приезжая, из-за реки.

– Почему?

– Не знаю.

– Тогда другое. – Ярош подвинул к ней лист. – Два года назад на севере была засуха. Помнишь?

– Помню. Рожь сгорела на корню. В Сухом Броде мы ели лебеду до весны.

– А весной – чем сеяли?

Мирена замерла.

– Лукьян взял зерно, – сказала она медленно. – У ростовщика. У Бережаты, кажется. Под заклад. Всем селом. Каждый двор заложил... долю тени. Малую, говорили – десятую часть. Её даже не вырезают, только записывают. Ставят знак в книге. А если не вернёшь к сроку – тогда уж приходят.

– Агей закладывал?

– Нет. Кто ж дурачку даст.

– Тёща мельника?

– Она приехала прошлой осенью. Её не было.

Ярош молча развернул к ней лист. На нём, его ровным почерком, были выписаны имена. Слева – ольшанские, тронутые. Справа – нетронутые, пятеро.

– Здесь то же самое, – сказал он. – Староста сказал, что Ольшанка позапрошлой весной тоже брала под долевой заклад. У столичного ростовщика. Все, кого тронул пустень, в залоге. Все, кого не тронул, – нет. Онисим и Мирон заложились не долей, а целиком. В Ракитном – я теперь уверен – так же. Борута проверит.

– Значит, пустень идёт к тем, кто в долгу?

– Идёт к тем, чья тень записана в столице, – поправил Ярош. – Записанный заклад – это след. Как запах для собаки. Знак в ростовщической книге связывает человека с его тенью и

с городом. Если умеешь – можно по этому знаку найти человека где угодно. А если ведёшь пустеня...

Он не договорил. Мирена договорила за него:

– То это как маяк.

– Да.

– А нить? Кол с нитью?

– Поводок, – сказал Ярош. – Чтобы пустень, наевшись, шёл туда, куда велено. Или чтобы то, что он съел, по нити уходило туда, куда велено. Я не знаю. Я никогда такого не видел. Но теневую нить прядут только в одном месте в Орвени.

Он не сказал, в каком. Не нужно было.

Мирена смотрела на список. На ровные строчки, на имена. Онисим Бондарь. Мирон Кривой. Двадцать два человека в Сухом Броде, которые не помнят своих имён. Параска, которая гладит Ивашку по голове и зовёт сиротой.

– И ещё одно, – сказал Ярош тихо. – Я проверил по своим записям, пока ехали. Бережата из Велиграда весной продал свои долговые книги. Все. И не он один – ещё трое столичных ростовщиков. Продали по одной цене одному покупателю.

– Кому?

Ярош посмотрел на неё.

– Палате Печати, – сказал он.

За окном над рекой висела луна, большая, белая. Вода под ней блестела. Ветер шевелил яблони в саду, и яблоки падали в траву с тихим глухим стуком – одно, другое, третье.

А потом перестали падать.

Мирена почувствовала, как в избе стало холодно. Не сразу – волной, от окна, от двери. Сенька у порога поёжился и плотнее запахнул куртку. Борута на печи перестал храпеть.

На стекле окна, прямо перед лицом Мирены, медленно, лучами от краёв к середине, начал расти иней.

Глава 9. Чужое детство

– Сенька, от двери, – сказал Ярош тихо и ровно, как говорят с лошадью, которая вот-вот понесёт. – Медленно. На печь, к Боруте.

– Капитан, что...

– На печь.

Сенька попятился от двери. Он не видел, что происходит, – Мирена поняла это по его лицу. Он чувствовал только холод, который поднимался от пола, и видел иней на стекле, и слышал, как в тишине потрескивают брёвна, будто зимой в мороз. Он забрался на печь, и Борута, уже не спавший, втянул его за ворот к стене.

Ярош поднялся из-за стола. Перо скатилось на пол. Мирена тоже встала. Она стояла у окна, а за окном, в лунном свете, уже не было видно сада: стекло затянуло белым до самых краёв, и только в середине оставался маленький тёмный круг, как глаз.

В этом глазу горели две бледные искры.

– Он здесь, – сказала Мирена.

– Где?

– За окном. Смотрит.

Ярош шагнул к ней. Встал рядом – между ней и печкой, где сидели его люди. Мирена хотела сказать ему, что это глупо, что ей пустень ничего не сделает, а ему сделает, – но не успела.

Пустень вошёл.

Он вошёл сквозь стену у окна, как в Сухом Броде, – сначала дымные края легли на брёвна, будто сажа, потом втянулись внутрь, и в избе стало темно, хотя луна по-прежнему светила в окно. Он был выше, чем помнила Мирена. Плотнее. Голова его упиралась в потолочную балку, и клубы дыма растекались по ней, как вода по камню. Внутри него двигались тени-картинки, быстрее, чем прежде, – чьи-то руки, чьи-то лица, огонь, вода, чужие дворы. Он наелся. В Сухом Броде, в Ракитном, в Ольшанке. Он был сыт – и всё равно голоден.

Две искры качнулись к Мирене. Задержались. Тварь наклонила голову – знакомо, по-детски – и издала своё «а-а-а».

Потом искры поползли дальше. На Яроша.

Ярош не мог его видеть. Мирена знала это. Он мог видеть только темноту, сгустившуюся у стены, чувствовать холод и, может быть, – если отцовская тень давала ему хоть малую щель, – угадывать очертания. Но он стоял прямо и не отступал. Рука лежала на рукояти ножа, и Мирена видела, как побелели костяшки.

– Он идёт к тебе, – сказала она. – Отойди.

– Нет.

– Ярош, отойди! Он тебя выест!

– За мной Борута и Сенька, – сказал Ярош. – Борута в залоге не числится. Сенька тоже. Он пришёл не за ними. Он пришёл за мной.

– Тогда тем более отойди!

– Если отойду, он пойдёт дальше и возьмёт их заодно.

Тварь протянула руку.

Это не было рукой – просто часть дыма отделилась, вытянулась, истончилась и стала похожа на длинную детскую ладонь с тонкими пальцами. Ладонь медленно поплыла к Ярошу. Не к лицу – к ногам. К тени, лежавшей на полу в лунном свете.

Ярош вздрогнул, будто его ударили. Мирена увидела, как дымные пальцы коснулись тени – отцовской тени, с чуть широкими плечами, – и тень дёрнулась, как дёргается под ножом живое. По ней побежали картинки: всадник в поле, собаки, кабан, ломающий кусты; молодая

женщина с яблоком в руке; старик с бородой, заплетённой в косицу, и с трубкой; яблоня в цвету. Картинки шли быстро, одна за другой, и дымные пальцы тянули их на себя, как тянут нитку из клубка.

Ярош застонал. Колени его подогнулись.

Мирена не думала. Она шагнула вперёд, между ним и тварью, прямо в дым.

Холод был страшный. Не зимний, не ледяной – пустой. Будто она вошла в погреб, где сто лет никого не было, где нет ни воздуха, ни света, ни времени. Он забивался в рот, в нос, в глаза. Мирена закашлялась. И почувствовала – не увидела, именно почувствовала, кожей, – как тварь вокруг неё замерла.

Внутри дыма было тихо. И в этой тишине, совсем рядом, кто-то дышал. Мелко, часто, как дышит ребёнок, который долго плакал.

– Уходи, – сказала Мирена. Голос был чужой, хриплый. – Уходи отсюда. Не трогай его. Слышишь? Не трогай!

Дым дрогнул. Две искры оказались прямо перед её лицом, так близко, что она могла бы коснуться их губами. Они были не холодные. Тёплые. Почти горячие.

«А-а-а», – выдохнула тварь. Прямо ей в лицо. И в этом выдохе Мирена услышала – не звук, а что-то вроде эха звука, обрывок, тень слова:

«...ина...»

Пустень отпрянул. Резко, как отдёргивают руку от огня. Дымные пальцы оторвались от тени Яроша. Тварь качнулась к стене, к окну – и ушла сквозь брёвна, торопливо, неуклюже, словно убегая.

Иней на стекле начал таять.

Мирена стояла посреди избы, задыхаясь. Ноги дрожали. Во рту был вкус пыли и пепла. За спиной что-то тяжело упало.

Ярош лежал на полу. Глаза закрыты, лицо серое, губы синие, как у утопленника. Мирена бросилась к нему, упала на колени, приложила ухо к груди. Сердце билось – часто, неровно, будто запинаясь.

– Борута! – крикнула она, забыв, что тот её не видит. – Огня! Воды горячей!

Борута её не видел. Но слышал. Он скатился с печи, будто был не старым сержантом, а мальчишкой, и бросился к печи – раздувать угли. Сенька застыл на печи, вытаращив глаза.

– Он живой? – выдавил он. – Капитан живой?

– Живой, – сказала Мирена. – Пока. Неси воду. Ведро в сенях. Живо!

Сенька, вероятно, впервые в жизни получал приказы от пустого места. Но он слез и побежал.

Мирена расстегнула на Яроше куртку, рубаху. И замерла.

На левом плече, от ключицы до лопатки, на коже лежало пятно. Тёмное, синевато-чёрное, как застарелый синяк. Холодное. Мирена коснулась его пальцами – и отдёрнула: кожа была ледяная, будто под ней лежал снег. По краям пятна разбегались тонкие тёмные жилки, как трещины на льду.

Теневой ожог. Она читала о таком в бабкиных книгах – на одной странице, мелким почерком, на полях. «Если пустень коснётся тени, у хозяина на теле остаётся знак: где тронули тень, там стынет плоть. Лечить теплом и горечью. Если знак пойдёт к сердцу – не лечится».

Она посмотрела на тёмные жилки. Они шли к шее. И – одна, тонкая, как волос, – вниз, к груди.

– Нет, – сказала Мирена вслух. – Не дам.

* * *

Ночь была долгая.

Мирена грела воду и делала припарки: полынь, пижма, корень аира, который она так и не донесла до дома в Сухом Броде и который нашёлся у неё в узле, высушенный. Горечь и тепло.

Она прикладывала к плечу горячие тряпицы, меняла их, едва они остывали, и снова прикладывала. Борута поддерживал огонь и таскал воду. Сенька бегал к соседям за мёдом и солью и вернулся ещё и с бутылью ядрёного самогона, который Мирена велела греть и растирать им холодные ступни капитана. Борута что-то ворчал про то, что лучше бы внутрь, но растирал.

Около полуночи Ярош начал бредить.

Сначала он просто шептал – невнятно, с закрытыми глазами. Потом заговорил громче. И Мирена, склонившись над ним с очередной тряпицей, услышала:

– ...держи, держи его! Отец, он уходит! Собак, собак спускай!

Голос был его – и не его. Моложе. Звонче. Голос мальчишки лет двенадцати, азартный, захлёбывающийся.

– Кабан, – сказал Ярош, не открывая глаз. – Огромный. Секач. Отец, смотри, он за ручей! Можно я? Можно я с рогатиной?

– Это не он, – тихо сказал Борута, стоявший у печи. – Это не его охота. Капитан на кабанов не ходил. Он городской.

– Это отец, – сказала Мирена. – Станимир. Он помнит детство отца.

Борута крякнул и отвернулся.

Ярош бредил всю ночь. Он охотился на кабана с дедом Мстивоем и сломал руку, упав с коня. Он ловил раков в речке под Вельском и порезал ногу о ракушку. Он целовал дочку мельника за овином – и Мирена, державшая тряпицу у его плеча, почувствовала, что краснеет, и разозлилась на себя. Он плакал, потому что умерла его собака, рыжая гончая по кличке Звонка. Он стоял на высоком крыльце, и дед поднимал его на плечи, и внизу была толпа, и собор, и кто-то выходил на солнце, а у ног его разворачивалась огромная тень...

Всё это было не его. Ни одна картинка. Мирена слушала и понимала: он живёт чужую жизнь. Детство человека, который умер три года назад, проиграв в кости имение и заложив тень сына. Каждая чужая охота, каждая чужая собака, каждый чужой поцелуй – занимали в нём место, которое когда-то принадлежало его собственному детству. И собственное уходило.

Под утро, когда за окном посерело, он вдруг открыл глаза.

Мирена сидела рядом на полу, привалившись к лавке, и почти задремала. Она вздрогнула, когда он пошевелился. Глаза у него были мутные, горячечные, но смотрели прямо на неё.

– Ружена, – сказал он.

Мирена замерла.

– Ружена, – повторил он и улыбнулся. Улыбка была мягкая, растерянная, совсем не похожая на ту строгую складку губ, которую Мирена видела у него днём. – Ты пришла. Я думал, ты не придёшь. Твой отец сказал, что Вельские – пустой дом и что за пустой дом он дочку не отдаст.

– Я пришла, – сказала Мирена тихо. Она не знала, что ещё сказать.

– У тебя яблоко, – сказал Ярош. – Ты всегда с яблоком. Из вашего сада. Ты мне его дашь?

У Мирены не было яблока. Но у печи стояла корзина – та, что принёс староста с вечера, с ольшанскими падалицами. Мирена встала, взяла одно, вернулась и вложила ему в ладонь. Он сжал пальцы. Яблоко было маленькое, красное с одного бока.

– Я посажу яблоню, – сказал он. – Под окном. Чтобы наш сын, когда родится, мог рвать прямо из окна. Как ты.

И закрыл глаза.

Мирена сидела над ним, и в горле у неё стоял ком. Ружена. Его мать. Станимир был молод, влюблён в девушку с яблоком, обещал ей посадить яблоню под окном для сына. Сын родился. Яблоня выросла. А сын теперь помнит не её, не мать, не то, как рвал яблоки из окна, – а то, как отец за ней ухаживал.

Каждый, кто носит чужую тень, понемногу забывает своё.

Это была не просто цена. Это было медленное воровство. По капле, по крупице, год за годом. Тень отца вытесняла из Яроша его самого, как вода вытесняет воздух из опрокинутой кружки.

И он об этом знал. Не мог не знать. Знал – и всё равно надевал белый плащ каждое утро, и шёл взыскивать чужие долги по закону, и платил из жалованья свой, по медяшке, по полуденнику. Сто семьдесят две гривны. Сколько лет? Десять? Пятнадцать? К тому времени, когда он выплатит, он будет помнить о себе только одно: что он должен.

Мирена почувствовала то, чего не чувствовала давно. Ни к кому. Даже к себе.

Жалость. Нет – не жалость. Жалость стоит три медяшки, как она сказала Параске. А это стоило больше. Это было похоже на то, как смотришь на человека, который несёт тяжёлый мешок, и тебе хочется подставить плечо – не потому, что он попросил, а потому, что ты знаешь, каково это – нести.

Она тоже несла. Тринадцать лет. Пустоту вместо материнского лица. Корешок вырванной страницы вместо колыбельной.

Он нёс чужое. Она несла ничего. И неизвестно, что тяжелее.

Мирена положила руку ему на лоб. Лоб был горячий, но уже не такой, как ночью. Она сменила припарку на плече и посмотрела на пятно. Тёмные жилки побледнели. Та, что шла к груди, остановилась, не дойдя на палец до сердца, – и теперь едва виднелась.

– Будешь жить, – сказала она. – Дурак.

Он спал до полудня. Мирена тоже уснула – прямо на полу, у лавки, положив голову на руки. Борута, как она потом узнала, укрыл её своим плащом – наугад, по тому месту, где, по его разумению, она должна была быть. Попал.

Когда она проснулась, Ярош сидел на лавке, одетый, бледный, с перевязанным плечом, и смотрел на яблоко в своей руке.

– Откуда это? – спросил он.

– Ты попросил, – сказала Мирена, садясь. – Ночью.

– Я не помню.

– Ты бредил.

Он кивнул. Медленно повертел яблоко.

– Что я говорил?

Мирена помедлила.

– Про охоту. Про кабана. Про деда с трубкой. Про собаку Звонку.

Ярош закрыл глаза.

– Это не мои, – сказал он. – Это отцовы.

– Знаю.

– Что ещё?

– Ещё ты звал Ружену.

Он открыл глаза. Посмотрел на неё. И Мирена увидела в его лице то, что видела у Гордея перед кузницей. Вежливое, растерянное непонимание.

– Кто это? – спросил он.

Мирене стало зябко, хотя у очага было жарко.

– Твоя мать, – сказала она. – Ружена. Ты... твой отец звал её так. Она приносила ему яблоки из своего сада.

Ярош смотрел на яблоко. Долго. Пальцы у него чуть заметно дрожали.

– Моя мать, – сказал он медленно. – Ружена. Да. Конечно. Я знаю. – И тише: – Я знал. Вчера ещё знал.

Он положил яблоко на стол. Встал, подошёл к окну. Стоял спиной к ней. Плечи под курткой были напряжены.

– Сколько он взял? – спросил он, не оборачиваясь.

– Не знаю, – честно сказала Мирена. – Немного. Я его отогнала. Но он тронул тень, и тень... Я думаю, он взял то, что было ближе к краю. То, что и так уже почти ушло.

– Мать, – сказал Ярош. – Почти ушла.

Мирена молчала. Нечего было сказать.

– Я не помню её лица, – сказал он. – Совсем. Помню, что была. Помню, что пахла яблоками. Это – из твоих слов. А лица... – Он помолчал. – Отец её помнил. Молодой. С яблоком. Это я помню. Это его.

– Я тоже не помню лица своей матери, – сказала Мирена.

Он обернулся.

– Ушло с тенью, – сказала она. – Мне было девять. Мать умерла раньше. Я помню, что она пела. Одну строчку. Больше – ничего.

Они смотрели друг на друга через избу. Двое людей, у которых украли матерей. Один – по капле, медленно, через чужую тень. Другая – сразу, за три серебряных монеты.

Дверь распахнулась. Вошёл Борута, пропылённый, на ходу стягивая перчатки.

– Ну, очнулся, – сказал он с облегчением. – Я в Ракитное сгонял, пока ты дрых. Проверил. Всё как ты сказал, капитан: кого взял – все в залоге. Кого не взял – никто. – Он перевёл дух. – И ещё. Гонец из Велиграда. Встретил на тракте. Передача Тени перенесена ещё раз. Не на десятый день. На завтра. На полдень. Совет решил – чтобы скорее, чтобы народ успокоить.

– Завтра? – Ярош выпрямился. – Почему?

– Не сказали. – Борута пожал плечами. – Только по городу слух идёт. Вассалы, говорят, съехались раньше срока. И требуют увидеть Тень. Немедля.

Глава 10. Передача

На Соборную площадь Мирена пришла затемно, за шесть часов до полудня, и всё равно едва нашла место.

Площадь лежала у подножия Державного холма, между дворцом и Собором Семи Огней, и была огромной – Мирена никогда не видела столько камня в одном месте. Её мостили, говорили, ещё при первых королях, и брусчатка за сотни лет стёрлась до блеска, так что в рассветных сумерках казалось, будто площадь залита тёмной водой. С трёх сторон её окружали дома в четыре и пять ярусов, с балконами и резными наличниками, и на всех балконах уже стояли люди. С четвёртой стороны поднимался собор.

Мирена смотрела на него, задрав голову, и у неё кружилась голова. Семь башен, семь золотых шатров, и в каждой башне – по огромному окну, в котором горел огонь. Огни не гасли никогда, ни днём, ни ночью, уже четыреста лет, – так говорили. Сейчас, в предрассветной синеве, они светились над площадью, как семь звёзд, спустившихся на землю. А перед собором, на широком белом крыльце в двадцать ступеней, стоял помост, затянутый чёрным сукном.

Туда в полдень выйдет княжна.

Толпа прибывала. Шли с окраин, из предместий, из ближних сёл – целыми семьями, с детьми на плечах, с узелками еды. Шли ремесленники в праздничных кафтанах, торговки в цветастых платках, нищие, монахи, школяры, солдаты. Мирена стояла у колонны старого фонтана в середине площади, вжавшись спиной в холодный камень, и её толкали, отпихивали, наступали на ноги – как всякую другую девку в толпе. Здесь, среди простых людей, она была видна. Это было непривычно и почему-то приятно.

Ярош велел ей не приходить.

«Там будет вся Служба Полудня, – сказал он вчера, когда они вернулись из Ольшанки на баржу. – Вся городская стража. Теневые мастера Палаты. Канцлер. Если хоть кто-нибудь из них догадается, что ты там...»

«Не догадается, – сказала Мирена. – Они меня не видят. Ты сам говорил».

«Я тебя вижу».

«Ты – особый случай».

Он хотел спорить, но Згода, курившая на палубе, сказала: «Пусть идёт. Ей надо видеть. Ты сам не знаешь, на что смотреть, Станимиров сын. А она узнает». И Ярош замолчал. А потом, уже уходя, остановился в дверях и сказал, не глядя на Мирену:

«Стой у фонтана. Оттуда видно крыльцо. Я буду на ступенях, слева, со своими. Если что-то случится – уходи сразу. Не жди меня».

«А что может случиться?»

Он не ответил.

Плечо у него ещё не зажило. Мирена видела, как он морщится, когда поднимает левую руку. Пятно на коже стало меньше и светлее, но не ушло, и он сказал, что под ним всё время холодно, будто кто-то приложил к спине кусок льда. Она дала ему мазь из барсучьего жира с перцем и велела мазать трижды в день. Он обещал. Она ему поверила: он всегда делал то, что обещал.

Солнце поднималось.

К десяти часам на площади уже нельзя было шевельнуться. К одиннадцати стража Службы Полудня в белых плащах выстроилась вдоль ступеней собора двумя рядами, и Мирена нашла среди них Яроша – слева, как он и говорил, на четвёртой ступени снизу, рядом с Борутой и Сенькой. Белый плащ, новая кольчуга под ним, шлем на сгибе руки. Лицо спокойное, строгое, неподвижное. Он не смотрел в толпу. Он смотрел на помост.

Мирене вдруг стало смешно и тепло одновременно. Капитан Службы Полудня. Честный до глупости. Стоит на ступенях собора в белом плаще, а вчера ночью ел с ней на барже Згодину уху из одного котелка и спорил, сколько соли класть.

Она отвернулась от него и стала смотреть на помост.

В половине двенадцатого на крыльцо вышли вассалы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.